

Пора, мой друг, пора

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

Пора,
мой друг,
пора



ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

**Пора,
мой друг,
пора**

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“. 1965

В новом романе Василий Аксенов остается верен своим традициям: центральное место в книге занимает мужажущее поколение — наши молодые современники.

Через все произведение проходит идея дружбы и взаимной помощи советских людей, подчас совершенно незнакомых друг другу. Действие романа происходит в Эстонии, в Москве и на большой сибирской стройке.

ЧАСТЬ I
ПРОГУЛКИ

1. Вся стена была залита лунным светом, только темнели ниши. Раз, два, три... восемь ниш в крепостной стене вдоль всей улицы Лабораториум. В каждую из этих ниш можно было влезть, согнувшись в три погибели, а когда-то ведь они предназначались для стражников, когда-то в каждой из них стоял стражник в латах и еще хватало высоты для алебарды. Время нанесло несколько слоев грязи, земли, булыжников, и вот теперь я, мужчина среднего роста, сидел скорчившись в одной из этих ниш.

Года два назад я еще мог поиграть в стражника, мог еще крикнуть гулко на всю улицу: «Внимание! Опасность!» Сейчас уже не могу. Сейчас я могу только сесть здесь на камни, вытянуть ноги в полосу лунного света и, глядя на носки своих ботинок, бездумно и беспечально выкурить одну за другой три сигареты.

Потом я встал, снял пиджак, вывернул его подкладкой наружу и положил в нишу. Потом я сделал четыре шага, поднял руки и обнаружил над головой знакомый выступ, который не сдвинулся за эти два года ни на один сантиметр. Потом я встал на цыпоч-

ки, быстро, с прыжка, подтянулся и перебросил ноги вверх. Потом я полез по лестнице.

По стене к башне шла стертая, выветрившаяся, еле заметная лестница. По-обезьяньи, на четырех конечностях, я пересек освещенную часть стены и вдруг испытал знакомый страх, когда, спасаясь от луны, прижался плечом к башне. Я стоял, прижавшись к башне, смотрел на поблескивающий внизу булыжник и накачивал себя, накачивал, как будто можно было что-то вернуть. Никогда не возвращайтесь на старые места, где вам было хорошо. Хорошо?! Мне было тогда плохо, отчаянно, гнусно, тревожно, зыбко, я умирал по нескольку раз в день, я весь ходил в липком поту — ах, как мне было тогда хорошо! Однако все попытки отсечь память провалились, вот я вернулся на это место, и сейчас, кажется, со мной происходило то же самое, что и тогда.

Итак, преодолевая массу каких-то унижительных ощущений, я нырнул в черный провал. Я лез вверх по узкому каменному горлу, то и дело руками и лицом прикасаясь к влажным стенам, как будто жабы целовали меня в кромешной тьме, загадочные жабы, явившиеся из глубины двух последних лет; я лез все быстрее и вылез на площадку башни.

Голуби взлетели с шумом, все разом. Толкая друг друга, они устремились в прорехи крыши, в лунное небо, и через несколько секунд настала тишина. Пыли здесь накопилось достаточно за это время, пыли и голубиного помета. Тогда мы уживались с голубями. Иные из них, причастные к тайнам любви, перестали нас бояться и ходили по балкам над нами, стуча лапками. В этом углу лежал мой старый плащ. Кто забрал его? Мы были свободны здесь, на этой улице.

Почему-то милиция обходила ее стороной. А ведь ничего особенно зловещего нет в этой улице — элементарная средневековая улица.

Я просунул голову в амбразуру и посмотрел вниз, на строй глухих домов с маленькими оконцами, похожими на амбразуры для мушкетов (дома эти были очень стары, в них помещались какие-то забытые всеми на свете склады), на узкую полосу лунного булыжника, на изгибающуюся крепостную стену, на башни, выглядывающие одна из-за другой. Почему-то даже туристы не решаются таскаться ночью по этой улице, хотя она для этих задрипанных туристов сущий клад.

Только пьяные компании нарушали иногда нашу тишину. Подъезжала к началу улицы машина и останавливалась: в улицу она въехать не могла — слишком узка эта улица. Из машины вываливалась группа орущих рок-н-роллы людей и бесновалась несколько минут, прыгая по булыжникам. Потом укатывали. Разок, правда, какой-то «лоб» в рубашке, усеянной голубыми и красными яхтами, отважился полезть по нашей лестнице, сунул голову в башню и выскочил, вереща: «Ой, братцы, там шкилеты!»

А мы с ней, «шкилеты», снова легли на мой старый плащ. Да, она не была тогда лишена романтического воображения! А я-то уж был хорош: недочка, начитавшийся Грина; мне грезилась бесконечная наша общая жизнь, ты да я от Севера до Юга, от Востока до Запада, двое бродяг, любящие сердца, двухместная байдарка, двухместная палатка... Нелегко проститься с юношескими грезами, но жизнь обламывает тебя, она тебя «учит», нельзя же все время быть сопливым теленком.

Ребята, никогда не посещайте вновь старых ба-шен, где когда-то вам было хорошо. Ах, как хорошо мне было! Башку я тогда чуть не разбил об эти камни. Ну, ладно!

Все дело в том, что в последние месяцы мной овладело удивительное спокойствие, спокойствие, которое выбивает меня из колеи и не дает работать, общаться с людьми, даже читать, а только и дает возможность прекрасно есть, прекрасно переваривать пищу, прекрасно толкать тележку. После всех огорчений, слез и клятв, после всевозможных волнений, и разлук, и встреч наступило это многомесячное спокойствие. Я двигаюсь по своим путям подобно ленивцу; на жизнь мне хватает, особых запросов нет; лениво жду событий, лениво принимаю решения. Короче говоря, мне необходим курс инъекций. И вот я начинаю его, сознательно, лениво, с ленивым любопытством к самому себе. Сначала я записываюсь в эту экспедицию, потом прихожу на улицу Лабораториум, потом влезая в эту башню, где мы когда-то тихо умирали от счастья...

Я спустился, нашел свой пиджак, надел его и поклонился всем теням, всем призракам и всем голодным кошкам этой улицы. На сегодня хватит.

Вышел на улицу Широкую — шар на шпиле евангелистской церкви. Вышел на улицу Длинную — милицейская машина «раковая шейка» с дрожащим султаном антенны. Иду по улице Длинной — освещенные двери буфета, велосипеды у дверей.

Возле буфета кто-то схватил меня за плечо. Я узнал Барабанчикова, маляра из нашей экспедиции.

— Здорово, — сказал он. — Ну, ты, я гляжу, хитрован.

— Выпил, Барабанчиков? — спросил я его.

— Ну, ты и хитрован! — восторженно и угрожающе пропел он, не отпуская меня.

— Что ты, Барабанчиков, в самом деле, — сказал я, освобождаясь от его руки.

— Ты меня, парень, не бойся, — прошептал он.

— А я и не боюсь.

— А это ты зря! — повысил он голос и сверкнул своей фиксой.

Замоскворецкие его фокусы и кураж сразу надоели мне, но я говорил мирно, не хотел портить отношений, потому что и так в экспедиции меня все еще считали чужаком.

— А я сейчас на танчиках был, — сказал Барабанчиков. — Бацал с одной эстончочкой. Ну, а потом, значитца, по садику с ней прошлись. Колечко мне подарила. Глянь!

На ладони его лежало жалкое колечко с красным камешком.

— Сила! — сказал я.

— Хитрован ты! — воскликнул он, седлая велосипед. — Костюмчик-то импорт? По благу достал небось, да? Вырядился, ишь ты! Знаю я тебя.

Он поехал, сутулый и какой-то дикий, всклокоченный, как медведь на велосипеде. Описал круг и остановился возле меня, упираясь правой ногой в асфальт.

— Садись на багажник, ну! — с какой-то совершенно непонятной угрозой крикнул он. — Садись, Валька, на базу сvezу.

— Иди ты к чертям! — рассердился я.

— Ну ладно! — захохотал он. — Пес с тобой! Че читаешь-то?

— «Знамя». — Я показал журнал.

— Молодец! Поможет жить, — одобрил он и поехал по улице, распевая что-то, вихляясь и дергаясь.

Я вошел в буфет. Эстонские и русские рабочие, заполнявшие его, даже не взглянули на меня. Навалившись на высокие столы, они пили пиво и громко говорили что-то друг другу, эстонские и русские слова, и матерились, естественно, по-русски. Я взял пива и отошел к ближайшему столику. Кто-то убрал локоть, и я поставил свою кружку на грязный мрамор, прямо о который люди гасили сигареты. На меня смотрел серый глаз, качающийся над кружкой рыжего пива. Парень в морской фуражке внимательно разглядывал меня. Перед ним на газетке лежала горка копчушек. Он пил пиво, прищулив один глаз, а вторым так и буравил меня. Такой это был тертый-перетертый паренек, каких можно увидеть в любом месте страны. Заметив, что я не отворачиваюсь, он подвинул ко мне свои копчушки.

— Угощайтесь.

— Благодарю, — я схватил копчушку, оторвал ей голову и мгновенно сжевал.

Парень поставил кружку и спросил в упор:

— Сам-то откуда?

— Москва.

— А я из Пярну, механик по дизелям, — он протянул через стол руку. — Сережка Югов. Ты, друг, пойми меня правильно. Я так считаю, что рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

— Правильно, Сережа.

— Образование у тебя высшее?

— Да нет. Я сейчас в киноэкспедицию нанялся, такелажником. А до этого шоферил в Московской области.



— Много имеешь?

— Мало.

— Слушай, «Гастроном» еще работает. Давай скинемся на полбанки?

— На чекушку пойдет, не больше.

Мы сложились по семьдесят пять копеек, и я побежал в «Гастроном». Бегом я пересек Рыночную площадь, перескочил через металлический барьер и сразу плечом нажал на дверь «Гастронома», которую уже закрывали, выпроваживая последних покупателей.

— Закрыто! — борясь со мной, крикнула из-за стекла тетка в белом халате. — Закрыт магазин, пьяницы проклятые!

— О миссис, гив ми плиз уан баттл водка! — крикнул я.

Она осмотрела меня и пропустила, приняв за иностранца.

— Вас волен зи? — неожиданно спросила она.

— Литтл баттл водка, — беспомощно жестикулировал я и гремел мелочью. — Это есть чекушка.

— Гопник вы самый настоящий, — разгадала меня тетушка, но бутылку все-таки отпустила.

Бегом, с чекушкой в кармане, восторженным и гулким галопом, как в лучшие годы юности, я пересек площадь и ввалился в буфет. Я понимал, что это тоже входит в курс моих дурацких инъекций.

Сереза Югов стоял суровый, ни с кем не разговаривал, ни с кем не общался, хранил верность мне, даже пива не трогал. Еще с порога я подал ему ободрающий знак.

— Давай с пивом сольем, — предложил он. — Крепче ударит.

Действительно, ударило крепко. Сереза поднял свой чемоданчик, и мы вышли из буфета. Мы пошли на вокзал — я решил проводить Серезку Югова.

Он шел рядом и что-то мне рассказывал о своей беспечальной жизни, в которой он всегда был вот таким крепышом с прямым позвоночником и расправленными плечами. Тихо шелестели и изредка хлопали его клеши.

— Я, Валя, на минном тральщике служил, а потом на энском эсминце. Даже в загранку ходил, в Стокгольм с дружественным визитом.

Он посмотрел на меня искоса, поставил чемоданчик на асфальт и вытащил из кармана военный билет. Открыл его и показал мне: Югов Сергей Ивано-

вич, старшина II статьи, — сжатое, как кулак, лицо с выпирающими желваками. Потом он показал мне карточки жены и дочки и, наконец, паспорт и служебное удостоверение. Я тоже предъявил свои документы, и это еще сильнее сблизило нас.

До отхода его поезда оставалось сорок пять минут, и мы направились в вокзальный ресторан. Решили махнуть рукой на все и потратить еще по два рубля пятьдесят копеек. В ресторане было битком, мы с трудом отыскиали места за столом рядом с двумя старшими лейтенантами, врачами.

Это был обычный вокзальный ресторан, шумный, с огромной картиной Налбандяна, с обалдевшими, замученными официантками, с шевелящейся разношерстной толпой, но с оркестром. Оркестр был дурацкий, тоже очень шумный, и странно было слышать в нем трубу с удивительно чистым звуком. Труба, сравнительно молодой отечный человек, видимо, задавала тон в этой компании — они играли мелодии из «Серенады Солнечной долины».

Сережа все смешивал водку с пивом. Вдруг он наклонился ко мне:

— Давай скинемся на «Полонез» Огинского?

— Что?

— Давай по полтиннику скинемся на «Полонез» Огинского?

Я сообразил, в чем дело, и выложил полтинник.

— А ты думаешь, они сыграют за рубль?

— Черт, — задумался Сережа. — Ужасно хочется послушать.

Вдруг он повернулся к старшим лейтенантам.

— Скинемся на «Полонез» Огинского, а?

Офицеры уставились на него.

— Скинемся по полтинничку, товарищи старшие лейтенанты?

— Что такое? Ничего не понимаю, — сказал один офицер.

— Я не люблю «Полонеза» Огинского, — сказал второй, — в зубах он у меня настрял.

— Что вы, обеднеете от полтинника? — возмутился Сергей. — Фу, какие жадные!

Он встал и пошел к музыкантам. Труба, наклонившись и иронически улыбаясь, кивнула ему и забрала деньги. Сережа вернулся и сел, прикрывшись рукой от офицеров. Те переглянулись недоуменно и смущенно засмеялись.

— Сейчас, — сказал мне Сергей. — Слушай.

И грянул «Полонез» Огинского. Ту-у-у; ту-ру-ру-ру, ту-ру-ра... И вверх и вниз славянская тоска с чудовищным грохотом медных тарелок и чистым звуком презрительной трубы, за рубль серебром волнение Серегоино сердца, и я, хмельной от пива и водки, тоже закрывшись рукой, как мой дружок, взволнованный и гордый тем, что это за мои пятьдесят копеек три минуты славянской тоски из репертуара всех самодеятельных оркестров, всех заводских и сельских клубов, ту-у-у, ту-ру-ру-ру, ту-ру-ра...

А Сережка кивал музыкантам и кивал иногда мне; это он заказал, и он слушал, и он был добр, пусть уж и эти жадные врачи послушают, пусть слушает весь ресторан, надо же — какая музыка!

— Все! Девушка, получите с нас!

Расчет был нелегкий, но вышло по два шестьдесят семь. Терпимо. Мы обменялись адресами, и Серега поехал в Пярну. Он стоял на подножке вагона, клеши под ветром щелкали об его ноги. Он кричал:

— Валька, в случ-чего разорись на телеграмму!

Еще одним дружкойм стало у меня больше. Мой блокнот, говорящий голосами грубыми и писклявы-ви, разудальными басками, и тенорами, и девчачьими голосами, хрипло смеющийся и плачущий, адреса, записанные на пространстве от Магадана до Паланги, дают мне право чувствовать себя своим парнем в своей стране.

Адреса, имена и телефоны, но за этими кривыми значками видятся мне вокзалы и ярко освещенные аэропорты, взвешивание багажа и толкотня у буфетов. Вперед, вперед, моя энергичная страна, я твой на этих дорогах и на этих трассах, и вот поэтому мне тошно всегда участвовать в проводах, а потом покидать вокзал в одиночестве.

Я вышел из вокзала и сразу стал одиноким в темном парке у подножия крепостных стен. Башни улицы Лабораториум обрисовались на фоне желтоватого сияния центра, и ноги понесли меня как раз туда, куда я зарекся ходить. Я шел к гостинице «Бристоль».

Я шел так, словно мне шестнадцать лет, все апрельское волнение и юношеские страхи воскресли во мне. Я останавливался возле газировочных автоматов и возле газетных витрин, в животе у меня что-то булькало и переворачивалось, точь-в-точь как тогда. С высоты своего спокойствия я радовался этому, но на самом деле мне было невесело.

Сквозь сетку ветвей, наконец, показалось шестиэтажное здание отеля. Весь нижний этаж был ярко освещен: светились окна ресторана и кафе. Я вышел на край площади, присел на барьер и огляделся. Качалась пьяная очередь на такси. Машины подходили одна за другой. В десяти шагах от городской

уборной спал в своем креслице старый еврей-чистильщик. Я давно знал его, еще с прошлых приездов в этот город. Он был единственным в своем роде. Эстонцы не любят чистить обувь на улицах, и клиентура старичка состоит в основном из приезжих. Своего рода русско-еврейский клуб собирается вокруг него днем, в послеобеденное время. Он любит поговорить, порасспросить и порассказать, этот щедушный жалкий старикашка. Говорят, когда-то у него был обувной магазин.

Сейчас он спал, прикрыв лицо лацканом пиджака, и только иногда вздрагивал, словно чужая опасность, и выглядывал из-за пиджака невидящими глазами в глубоких темных впадинах — неожиданно величественным ликом, словно хранящим гнев и зоркость Авраама, — и снова закутывался в пиджак. Это были бессознательные движения — он спал, просто это вздрагивал его внутренний сторожевой.

Я подошел и поставил ногу на подставку. Тронул его за плечо.

— Папаша!

— Да! — воскликнул он, затрепетав. — Да, да! Нет! — и проснулся.

Он чистил и трещал по своему обыкновению:

— Вы мне знакомы, я вас уже видел. Приходите-посидите, года три назад, ведь верно? А, два года! Ну, я вас помню! Вы ходили в коричневом пиджаке. Нет? Без пиджака? Ну да, кажется, была большая компания, правда? Две или три красивые девушки, нет, не так? Видите, я не ошибся! Кажется, вы артист или художник, нет? Рабочий? Не хитрите, прошу вас. Конечно, вы ленинградец, нет? Москвич.

Я угадал, вот видите. Пожалуйста, готово! Можно смотреться, как в зеркальце. Благодарю вас. Да, а я все здесь сижу. Думаете, я всегда чистил? Нет, я не всегда был таким. Угодно посмотреть? Вот, молодой человек, каким я был когда-то.

Он открыл потрескавшийся школьный портфель и достал оттуда твердый и сильно пожелтевший фотоснимок.

На нем был он сам лет тридцати пяти: округлое довольное лицо, смокинг, в правой руке цилиндр. Он стоял за креслом, а в кресле в белом платье восседала дама с лицом тоже полным довольства.

— Это Рива. Она умерла.

Я простился с ним и пошел через площадь к отелю, медленно переступая начищенными до блеска английскими ботинками. С другой стороны площади я посмотрел на чистильщика. Он собирал свое хозяйство, укладывал в портфель банки и щетки, потом взял под мышку кресло и пошел. О господи, ночи этой не было конца!

2. Причины, которые заставляли меня останавливаться возле газировочных автоматов и возле газетных витрин и чистить обувь, те же самые причины заставили меня пройти не сразу в ресторан, а в кафе сначала. Я был уверен, что все они сидят в ресторане, но, войдя в кафе, сразу увидел их там. Впрочем, спокойствие ко мне уже возвращалось, и я спокойно разглядел их всех, а потом прошел к стойке, сел там и заказал что-то на семьдесят пять копеек.

Барабанила какая-то музыка, и я спокойно раз-

глядывал их всех в зеркало, которое было у меня прямо перед глазами.

Там была Таня и еще какие-то две девицы — кажется, из массовки, Андрей Потанин — исполнитель главной роли, администратор Нема, потом те трое из гостиницы и еще какой-то незнакомый мне паренек, который сегодня утром появился на съемочной площадке. Это был, по всей видимости, настырный паренек. Он потешал всю компанию. Вытягивая шею из защитной рубашки и обнажая верхние зубы, он что-то рассказывал Тане. Она с трудом удерживала серьезную мину, а все остальные качались, слабая от смеха.

Особенно меня раздражали те трое. Уже неделю они крутились вокруг Тани. Странно, не такая все же она глупая, чтобы не видеть, какие это законченные, вылощенные и скучные подонки. Вся эта троица в натянутых на голые тела грубых свитерах, со сползающими браслетами на руках, двое на машине, а третий на мотоцикле, пустоглазые, очень сильные, — знаем мы этих типчиков.

Сейчас все они были в дакроновых костюмах и встряхивали руками, подбрасывая сползающие браслеты. Наверное, один из них был умницей, второй — середка на половинку, а третий — кретин, но для меня все трое были одним миром мазаны. Ух, гады!

Один из подонков привстал и дал прикурить нашей кинозвезде, Татьяне. Я понял, что мне пора ехать на базу от греха подальше. Слез с табуретки, и тут меня Нема окликнул. Я подошел к ним.

— Знакомьтесь, это Валя Марвич, наш сотрудник, — сказал Нема.

Какой тактичный человек Нема! Ведь вся эта ком-

пания вечно ошивается на съемочной площадке и знает, какой я сотрудник. Девицы на меня даже не взглянули, а те трое так и уставились, должно быть, их костюм мой удивил, что же еще.

— Здравствуй, Валя, — сказала Таня. — Мы с тобой потом поговорим?

Это тоже удивило тех троих.

— Слушай, тут у нас попался такой комик, умрешь, — шепнул мне Нема и показал глазами на парня в зеленой рубашке.

— Здорово, друг, — сказал я и протянул руку этому шуту — ясная у него была роль.

— Виктор, — быстро сказал он. — Митрохин.

— Спроси у него, кто он такой, — шепнул мне Нема.

— Ну ладно, — сказал я. — Ты кто такой, друг?

— Я сам из Свердловска, — быстро ответил он. — Пришлось мне здесь пережить тринадцатидневную экономическую блокаду.

Те трое, и девицы, и Нема, и Потанин, и Таня прямо зашлись от смеха.

— Третий раз уже рассказывает, и слово в слово, — шепнул мне Нема.

Парень с полной серьезностью продолжал:

— Конечно, трудно приходится человеку, когда у него бензин на ноле. Знаешь, что такое бензин на ноле? Не то что совсем нет, а так, на два-три выхлопа. Но я не терялся. Утром надеваю свежую рубашку, покупаю свежую эстонскую газету и иду на вокзал к приходу ленинградского поезда. Стою, читаю газету, кожаная папка под мышкой, понимаешь? Подходит поезд, из него выходит добропорядочная семья: папа, мама, дочка, весьма симпатичная...

— Ну, слово в слово, — стонал мне на ухо Нема.

— Естественно, они растеряны — незнакомый город, незнакомая речь. В тот момент, когда они проходят мимо меня, я опускаю газету и говорю, заметь, по-русски: «Любо-пыт-но». Конечно, они бросаются ко мне с вопросами, и тут совершенно случайно выясняется, что у меня есть свободное время. То да се, я веду их по улицам, просто как галантный приветливый патриот этого города, показываю достопримечательности, помогаю устроиться в гостинице, то да се. Приходит время обеда, и я веду их в ресторан. Здесь, — он приостановился и взял сигарету, один из троих дал ему огонька, — здесь я иду ва-банк и наедаюсь до потери пульса. Конечно, они платят за меня. Наутро я их провожаю в Таллин, в Ригу или в Пярну. Они уже привыкли ко мне, журят, как родного сына.

— Отличный способ, — сказал я.

Нема подвинул мне рюмку, но я не выпил. Противна мне была эта изнемогающая от смеха компания.

— Есть еще один способ, — напористо продолжал парень. — Известно, что в этот город часто приезжают девушки из Москвы и Ленинграда для того, чтобы рассеяться после сердечных неудач. И вот здесь они встречают меня, приветливого и галантного старжила. Ну, снова прогулки, беседы... Совершенно случайно я даю им понять, что не ел уже шесть дней...

— Опять хороший способ, — сказал я.

— Что делать? — развел он руками. — Но все же такой образ жизни имеет и теневые стороны, накладывает на человека свой отпечаток.

— Какой же, Витя? — угасающим шепотом спросила Татьяна.

— В лице появляется нечто лисье, — таинственно сообщил он.

Стол задрожал от хохота. Честно говоря, я тоже не выдержал. Парень растерянно огляделся, потом бегло улыбнулся и снова приготовился что-то рассказывать, но Нема и Потанин собрались уходить, и он тоже встал вместе с ними.

— До завтра, друзья, — сказал он. — Как всегда, в баре?

Он пошел к выходу с Потаниным и Немой, худой, высокий, с коротким ежиком волос, действительно с кожаной папкой под мышкой. Беспомощно вертящаяся на тонкой шее голова, блуждающая улыбка — как-то не похож он был на такого уж ловкача.

— Параноик какой-то? — спросил я Таню.

— Смешной тип, — сказал один из тех троих. — Уже прозвище получил.

Парень вдруг вернулся, подбежал к нам.

— Смотрите, — воскликнул он, показывая на людей, облепивших стойку, — здорово, правда? Как они взвиваются, а? Завинчиваются! Еще бы каждому пистолет на задницу, а? Техас! Ну, пока!

За столиком все снова скисли от смеха.

— Ну, так какое же прозвище? — спросил я.

— Кянукук, — сказал один из тех троих. — Поэстонски — «Петух на пне».

— Так ликер какой-то называется, — вспомнил я.

— Правильно. Он нам уже все уши прожужжал с этим ликером. Рекламирует этот ликер, как будто мы сами не знаем.

— Да уж в этом-то вы, должно быть, разбирае-

тешь, — сказал я, нехорошо улыбаясь. — Небось уже по уши налились этим ликером?

— Валя... — сказала Таня.

— Подумать только, — сказал один из троицы, — приключений приехал искать из Свердловска! Потеха, правда?

— А вы зачем сюда приехали, козлики? — спросил я его. — Тоже небось для своих козлиных приключений, а? По своим козлиным делишкам, верно ведь?

— Ну-ну, ты! — сказал один из них и вскинул руку, с запястья которой вниз, к локтю, сразу же упал браслет.

А тут еще перстень-печатка, и брелок на поясе под расстегнутым пиджаком, и усики, и шевелящиеся под усами губы, и угрожающая усмешка.

— Валя, мне надо сказать тебе пару слов, — сказала Таня.

Я встал вместе с ней.

— Еще увидимся, наверное, — сказал я тем троим.

Они переглянулись.

— Это мы тебе обещаем.

Мы пошли к выходу. По всем зеркалам отражалось наше движение, мое с Таней, тоненькой, высокогрудой, немного растрепанной. Волосы ей покрасили для съемки в неестественно черный цвет. Таня кивала направо и налево, потому что весь творческий состав нашей группы сейчас прохлаждался в этом кафе. А я никому не кивал, потому что я — технический состав.

— Автор приехал, — сказала Таня, — вон сидит с Павликом.

Я сразу узнал его, как-то в Москве мне показывали его на улице. Крепенький такой паренек, с виду не скажешь, что писатель.

Мы вышли на улицу. Резкий холодный ветер с моря был так прекрасен, что я стал глотать его, раскрыл рот, поднял голову. Готический силуэт города и верхушки деревьев поплыли вокруг нас.

— Ну, чего ты набросился на этих ребят? Милые интеллигентные мальчики, — сказала Таня.

— Живешь уже с кем-нибудь из них? — спросил я.

— Дурак, балда стоеросовая! — засмеялась она. Мы пошли через площадь.

— Просто у нас подобралась очень веселая компания. Днем я работаю, ты же знаешь, а вечерами сижу с ними, смеюсь. А вон идет Борис, — сказала она. — Ты знаешь, он физик. Умопомрачительная умница. Тоже живет в нашей гостинице.

Навстречу нам лениво шел, закинув голову, кто-то высокий. Белела в темноте его рубашка, рассеченная галстуком.

— Можно с вами погулять? — спросил он медленно не вызывающим возражений тоном.

Дальше мы пошли втроем. В какой-то церкви были открыты двери. Там перед алтарем темнело что-то массивное. Гроб, догадался я, когда мы уже прошли.

— Вы физик, да? — спросил я Бориса.

— Вроде бы так, — ответил он лениво, не глядя на меня.

— Ну как там, сделали еще какую-нибудь бомбу? — спросил я опять через голову Тани. — Нейтронную, позитронную, углеводородную?

Он глухо посмеялся в кулак.

— У нас другие дела. Более сложные, чем эта муть.

— Ты знаешь, Борис мне такие вещи интересные рассказывал, — сказала Таня. — Черт знает, что делается в науке.

— Муть эта ваша наука, — сказал я.

— То есть? — заинтересованно спросил Борис.

— Муть с начала до конца. Вы, например, знаете, что такое Луна?

— Нет, не знаю.

— Пижоните. Знаете прекрасно и ужасно довольны тем, что знаете. А я вот не знаю, ничего вы мне не доказали. Луна и Солнце — это одно и то же, на мой взгляд, просто ночью из-за холода это светило светит иначе.

— Ну-ну, — сказал он. — Любопытно.

— Бросьте вы ваши «ну-ну». Тоже мне небожители.

— А вы психопат, — так же лениво сказал он, повернулся и пошел назад.

Мы пошли с Таней дальше, и больше никто уже к нам не цеплялся.

— Не знаю, зачем ты с этими ребятами связался, — проговорила Таня.

— Терпеть не могу таких, как они.

— Каких? Они такие же, как все. Чем ты от них отличаешься? Тоже любишь джаз и все такое...

— Я всю жизнь работаю! — почти закричал я.

Непонятно, почему все это меня так сильно заделало, еще вчера я бы только хихикнул и смолчал, а сегодня вот ругаюсь, кричу.

— Я всю жизнь работаю, — повторил я, останавливаясь у какой-то витрины. — Всю жизнь работаю,

как ишак, и только тех люблю, кто работает, как ишаки. Я ишаков люблю, чудаков, а не таких умников!

— Работаешь ты только для пижонства, — сказала она, поворачиваясь лицом к витрине.

— Молодец! — засмеялся я. — Умница!

— А для чего же еще?

— Чтобы жить, понимаешь? Чтобы есть! Ням-ням мне надо делать, понимаешь?

— Мог бы спокойно работать в газете.

— Кабы мог, так и работал бы, — сказал я и тоже повернулся к витрине.

На витрине в левом углу красовался Рубинштейн, вырезанный из фанеры. Отличный такой Рубинштейн, с гривой волос, с дирижерской палочкой. А в правом углу — лупоглазый школьник, похожий на Микки-Мауса, с карандашами и тетрадками в руках. Это был магазин культтоваров и канцпринадлежностей.

— Ну чего тебе от физика-то нужно было? — спросила Таня.

— Ничего, просто чтобы он отшил.

На самом деле я ругал себя за ссору с физиком. Я гоже оказался пижоном, проявляя свой дурацкий снобизм, прямо выворачивался весь, куражился, вроде Барабанчикова. Но мне действительно хотелось, чтобы он ушел. Хороший ты или плохой — уходи, физик!

Мы замолчали и долго молча разглядывали витрину, она — Рубинштейна, а я — мальчика. Вдруг она прикоснулась к моей груди. Я посмотрел: оказывается, рубашка у меня была грязная.

— Что это? — прошептала она. — Улица Лабораториум, да?

— Глупости какие, — громко сказал я. — С чего ты взяла?

— Ты так же пачкался тогда, когда лазал в башню.

— Нет, это в другом месте, — я застегнул пиджак. — Что ты мне хотела сказать?

— Ах да! — Она поправила волосы, глядя в витрину. — Ты подал на развод?

— Да. А ты?

— Я тоже.

— Прекрасно, — я шутовски пожал ей руку. — Встречный иск. А что ты написала?

— Ну что? — она пожала плечами. — Как обычно: не сошлись характерами. А ты?

— А я написал, что меня не устраивает твой идейный уровень, что ты не читаешь газет, не конспектируешь и так далее.

— Ты думаешь, это сработает? — засмеялась она.

— Наверняка, — ответил я, и она опять засмеялась.

— Скажи, — сказала она, — а зачем ты поехал в эту экспедицию?

— Во-первых, я понятия не имел, что попаду в вашу группу. Мне просто надо было уехать из Москвы, а во-вторых, почему бы мне не быть здесь?

— Понятно, — вздохнула она. — Проводишь до гостиницы?

— Вон физик возвращается. Он и проводит.

Я долго смотрел, как удалялись физик и Таня, в конце улицы, под фонарем он взял ее под руку. Потом я повернулся к Рубинштейну.

Сыграй что-нибудь, Рубинштейн. Сыграй, а? Когда же кончится эта ночь?

3. Мне надо было возвращаться на базу, надо было искать такси, еще выкладывать не меньше чем рубль сорок: автобусы уже не ходили. База наша размещалась за городом, в сосновом лесу, в здании мотоклуба. Там жили все мы, технический состав, а творческий состав, естественно, занимал номера в «Бристоле». Киноэкспедиция — это не Ноев ковчег.

Из-за темной громады городского театра вынырнул и остановился зеленый огонек. Я побежал через улицу. На бегу видел, что с разных сторон к такси устремились еще двое. Я первый добежал. Открывая дверцу, я вспомнил наши с Таней поездки в такси. Как пропускал ее вперед, и она весело шлепалась на сиденье, а потом рядом с ней весело шлепался я, как мы торопливо обнимались и ехали, прижавшись друг к другу плечами, ехали с блуждающими улыбками на лицах и с глазами, полными нетерпеливого ожидания, как будто там, в конце маршрута, нас ждал какой-то удивительный, счастливый сюрприз.

— Куда поедем? — спросил шофер и включил счетчик.

— За город, к мотоклубу.

— Ясное дело, — буркнул он и тронулся.

Он что-то тихо насвистывал. Лицо у него было худое, с усиками. Он был похож на третьего штурмана с речного парохода, а не на шофера.

Мы ехали через весь город. Взобрались вверх по горбатым улочкам средневекового центра, потом спустились на широкую дорогу, по обеим сторонам которой стояли темные двухэтажные дома. Промчался какой-то шальной ярко освещенный автобус без пассажиров, потом нас обогнал милицейский патруль на мотоцикле. Шофер сразу выключил фары.

«Сейчас буду думать о своей жизни», — решил я. Когда так решаешь, ничего не получается. Начинаешь думать по порядку, и все смешивается, лезет в голову всякая ерунда, только и знаешь, что глазеть по сторонам. «Буду глазеть по сторонам», — решил я и тогда начал думать.

Я вспомнил, как мы познакомились с Таней. В ту пору я, недоучка, вернулся из Средней Азии и был полон веры в себя, в успех своих литературных опытов, в успех у девушек, в полный успех во всем. Уверенность эта возникла у меня вследствие моих бесконечных путешествий и самых разных работ, которые я успел перепробовать в свои двадцать пять.

Я давно уже был предоставлен самому себе. Отец, уставший от жизни, от крупных постов, на которых он сидел до сорок девятого, занимался только своим садиком в Коломне, где он купил полдома после выхода на пенсию. Брат мой, Константин, плавал на подводной лодке в северных морях. Встречались мы с ним редко и случайно: ведь я так же, как и он, бесконечно находился в своих автономных рейсах.

Иногда я зарабатывал много денег, иногда — курам на смех. Иногда выставлял на целую бригаду, а иногда сам смотрел, кто бы угостил обедом. Такая была жизнь, холостая, веселая и мускульная, без особых претензий. Я все собирался завести сберкнижку, чтобы продолжить прерванное свое высшее образование, и эти благие порывы тревожили меня до тех пор, пока я не обнаружил в себе склонности к писательству.

То есть я и раньше писал стихи, как каждый второй интеллигентный мальчик, но это прошло с возрастом.

Первый рассказ, написанный то ли во время отгула, то ли во время командировки, то ли в дождь, то ли в ведро, от скуки или с похмелья, а может быть, из-за влюбленности в кондукторшу Надю, этот рассказ вверх меня в неистовство. Спокойный мир суточных-командировочных, рычагов и запчастей, нарядов и премиальных, этот мир всколыхнулся, тарифная сетка стала расплываться. Меня вдруг охватило невыносимое восторженное состояние, романтика: виделась мне алая паруса, и потянуло к морю, к приливу, ночное небо рождало тревогу, книги на прилавках вызвали решительные чувства: я лучше могу, я все могу!

На целине во время уборочной я лежал ночью в скирде и вдруг запел нечто дикое: мне показалось, что и музыку я могу сочинять, могу стать композитором, если захочу, потому что я вдруг почувствовал себя на скирде и холодное тело подлодки моего брата, скользящее подо льдом.

Внешне я не подавал виду, а, наоборот, все больше грубел, даже начал хамить, чтобы скрыть свои восторги. И грубость эта давала себя знать, я надувался спесью, думая о своем совершенстве, о высшей участи, уготованной мне, и не в последнюю очередь о своих мускулах, о своем «умении жить», а также о том, что этот маленький отрезок всемирного времени отведен мне и я могу вести себя в нем, как мне самому хочется, а потом — трын-трава!

Только бумаге втихомолку я отдавал свои восторги, свою выпренность, но даже от нее что-то таил, что-то слишком уж стыдное, может быть, именно то, что и толкало меня писать.

И вот я встретился с Таней в этом городе, куда приехал отдохнуть эдаким вечно ухмыляющимся па-

реньком, бывалым, знающим себе цену. Я думал только о себе в ту пору, меня не занимали окружающие, все мне было нипочем, горести детских лет забылись, я спокойно и весело думал о том, что все мы просто сохнем когда-нибудь и превратимся в пыль, и я еще собирался писать, кретин!

В первый же вечер с грохотом свалились к ногам мои дурацкие латы. Вся система обороны, которой я гордился, катастрофически разрушалась. Я будто заново стал шестнадцатилетним плохо одетым пацаном, мне казалось, что все на меня смотрят, что у каждого припасено ехидное словечко на мой счет. С болью я ощутил удивительную связь со всеми людьми на земле, и в этом была виновата Таня. Я помню, как она спросила меня в один из наших первых вечеров: честолюбив ли я? Что я должен был ответить: да или нет? Я ответил: нет! Уверены ли вы в себе? Нет! Чего же вы хотите добиться в жизни? Тебя! Она жила с родителями в гостинице, а я на турбазе, в комнате на восемь человек. В один из вечеров мы попали на улицу Лабораториум...

Слева открылся залив. Лунная полоса дрожала на его мелкой воде.

— Завтра дождь будет, — буркнул шофер.

— Почему вы так думаете?

— Так, знаю.

...Мои литературные планы также рушились с замечательным треском и очень быстро. Космические масштабы моих юношеских построений никого не интересовали. Людей интересовали свежие номера газет, а также почему Иван-Иванович был хорошим человеком, а стал подлецом, и наоборот — почему Петр Петрович переродился и стал совестливым чело-

веком, а также проблемы поколения, связь поколений, воспитание поколения, разные другие вопросы. Я это прекрасно стал понимать, потому что из-за Тани с меня слетела вся моя защищенность, слетели все мои ухмылки. Жизнь с ней была полна тревоги, тревоги каждую минуту, бесконечных споров с ее знаковыми, с ее родителями, с ней.

Ее родители устроили меня в газету. Я стал получать хорошую зарплату, но работать там не мог, ничего у меня не получалось. Там было много людей, у которых ничего не получалось, но все они прекрасным образом служили, а я не мог. Я ушел из газеты и взялся за свою прежнюю шоферскую работу. Я работал шофером в одном колхозе в Московской области. Это был довольно странный, но преуспевающий колхоз. Он не пахал, не сеял и не собирал урожай. У него был хороший автопарк — шестнадцать грузовиков, все они работали на извоз, а денежки капали в колхозную казну. Кроме того, там была большая молочная ферма и огромные парники для ранних овощей на потребу Москвы. В общем все это меня мало касалось, я крутил баранку в пыли и грохоте, в черепашьем движении Рязанского шоссе, унижался перед «гаишниками», и вырывался на лесной асфальт, и в очереди на заправку рассказывал коллегам сомнительные анекдоты; проходил техосмотры и повышал классность; это была жизнь по мне. Танина карточка висела у меня в кабине.

— Киноактриса? — спрашивали случайные попутчики.

— Угу, — кивал я, потому что она действительно становилась в ту пору киноактрисой, а утверждая, что это моя жена, я только бы смешил своих попутчиков.

Тогда ее утвердили на главную роль в первой картине. Она поразительно быстро менялась. Кто-то ей очень ловко внушил, что люди искусства — это совсем особенные люди. Эта мысль успокаивала ее с каждым днем, от ее трепетности не осталось и следа.

Как-то в воскресенье мы плохо договорились с ней, и я поехал в Переделкино показывать одному писателю свои очередные упражнения. Пока он читал, я лежал под его машиной и подкручивал там гайки. Это был своеобразный обмен любезностями. А мне нравилось лежать под его машиной, здесь было все, что мне требовалось по воскресеньям: близкий запах машины, и далекий запах травы, и тишина, подмосковная тишина. Только лопались в воздухе звуковые барьеры, только нежно погромыхивала электричка, только свистел «ТУ-104», поднявшийся с Внуковского аэродрома, только сентиментально стрекотали вертолеты.

В тот раз тишина нарушилась смехом. Я выглянул из-под машины и за забором увидел Таню в компании каких-то юнцов. Наверное, там были и другие девушки, может быть, даже знакомые, но мне показалось, что она там одна среди хохочущего сброда восемнадцатилетних мальчишек...

На Киевском вокзале в киоске продавались Танины карточки. Школьницы покупали их. Какой-то сопляк покрутил карточку в руках и сказал:

— Будь здоров девочка!

Это был первый приступ ревности. Такой ревности, когда трогаешься рассудком, когда воешь по вечерам от смертельной тоски, когда милое тебе существо, словно привидение, проносится у тебя перед глазами в безумном порнографическом клубке.

Потом все это прошло, дикость моя. Я был чудо-

вишно несправедлив, я просто не понимал ее, не понимал людей искусства. Я снял комнату в Ильинке и стал хорошо и много писать. Вечерние электрички с расфуфыренными подмосковными девицами и лихими «малаховскими ребятами», правда, волновали меня, манили в таинственные дали, в Кратово, под сень парка железнодорожников, где грохотали замороженные рок-н-роллы, но в вечернем небе появлялись пузатые быковские самолеты, раскорякой шли на посадку, и я торопился к своему шаткому столу.

Кажется, я начинал понимать секрет: надо работать без утайки, я не должен бояться бумаги — это самый близкий мой друг. Все, что я скрою, обязательно вылезет потом, но уже в смешном, окарикатуренном виде. В конце концов писательство — это то, что прежде всего нужно мне самому, то, что помогает мне, каждую минуту сжимает в энергический ком, и я не должен хитрить в этом деле. Лицом к лицу с бумагой я не должен стыдиться самого себя — ни своей глупости, ни своих так называемых сантиментов. Я простой человек, имеющий отношение ко всем прохожим и проезжим, я такой же, как все они. И я им нужен — вот в чем штука, без этого дело не пойдет.

Я успокаивался. В полном спокойствии я работал и в полном спокойствии посещал редакции — не напечатает сейчас, напечатает потом. Я очень прочно успокоился за несколько месяцев, но кончилась какая-то часть работы, и я стал думать: не слишком ли?..

...За поворотом шоссе возникла в темноте подсвеченная прожектором белая каменная игла — обелиск в память павших десантников. И полон был мир для меня любви к погибшим моим братьям.

- Вы Есенина любите? — вдруг спросил шофер.
— Люблю, конечно, — ответил я.
— Почитать вам стихотворения Есенина?
— Давай.

«Ты меня не любишь, не жалеешь...», «Может, поздно, может, слишком рано...», «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...», «Вы помните, вы все, конечно, помните...» — читал шофер.

Я тоже пытался что-то читать, но сбивался, и он меня поправлял и читал дальше безошибочно. Он знал уйму стихов Есенина. Мы неслись по лесу, фары пробивали лес, и в глубине за соснами возникали фантастические очертания кустарника. И полон был лес для меня призраков, призраков моей любви, которые маячили из-за потухших костров, смешных и милых призраков.

— А его поэму «Проститутка» ты знаешь? — спросил шофер.

— Нет, не знаю такой.

— Ну, так слушай.

И вдруг после есенинских стихов последовало длинное графоманское сочинение о юной проститутке, сочинение с невыносимым ритмом, безобразное, сальное...

Читал он вдохновенно.

— Это не Есенин, — сказал я.

— Как это не Есенин? — поразился он.

— Это какой-то бездарный алкоголик сочинил, а не Есенин.

Вдруг он затормозил так резко, что я чуть не стукнулся лбом о ветровое стекло.

— Ты чего?

— Давай отсюда, выматывай!

— Рехнулся, друг?

— Выматывай, говорю! Знаток нашелся. Есенин не Есенин...

Он выругался, и губы у него дрожали от обиды. Я вылез из машины.

— Ладно, я пешком дойду, но только ты пойми, что это не Есенин. Ты, друг, вызубрил стихи, как поп-ка, а золота от дерьма отличить не можешь.

— Спрячь свои паршивые гроши! — заорал он, выкатывая глаза, и захлопнул дверцу.

Я поднял воротник, засунул руки в карманы и пошел по шоссе, потом обернулся и посмотрел, как он разворачивается. Потом пошел дальше по лунным пятнам, по качающимся теням, с холодом в душе из-за этой ссоры. Минут через десять я услышал шум мотора сзади и обернулся. Фары из-за поворота описали дугу по елкам, делая их из черных зелеными показалась машина, это было мое такси.

— Садись, — сказал шофер.

Я молча сел с ним рядом.

— Я сейчас рифму разобрал, может, ты и прав, может, это и не Есенин. Должно быть, действительно какой-нибудь алкаш сочинил.

— Ты с «Мосфильма»? — через минуту спросил он. Я кивнул.

— А я сам питерский. Питер бока повытер, — печально подмигнул он. — Женку прогнал и сюда подался. Здесь мне не пыльно.

— Чего так? — хмуро спросил я.

— В торговле она работала, понял?

— Ну и что?

— Я же тебе говорю, в торговле она работала и левака дала с завмагом.

— А!

— Ничего не понимаю, — сказал он, тараща глаза на дорогу. — Ничего не понимаю, хоть ты убей.

Я всунул ему в рот сигарету и дал огня. Он неумело запыхтел.

— Ничего не понимаю. Завмаг такой толстый, старый, а она девчонка с тридцать девятого года.

— Баб не поймешь, — сказал я.

— Верно. Бабу, может, труднее понять, чем мужчину.

— Плюнь, — сказал я. — В конечном счете выгнал — и правильно сделал. Найдешь здесь себе естопночку.

— Как же, найдешь! Не допросишься.

— Давай организуем союз русских холостяков, а? Он засмеялся.

— Тебя как зовут?

— Валя.

— А меня Женя. Давай повстречаемся, а?

— Давай.

— Вот этот телефон запиши, — он ткнул пальцем в дощечку справа от руля.

На ней было написано: «Как вас обслужили, сообщите в диспетчерскую по телефону 2-41-59». Я записал.

Показалось модернистское здание мотоклуба.

— Пока, — сказал я. — Обязательно позвоню, Женька.

— Будь здоров, — он протянул мне руку. — Понимаешь, жить без нее не могу, без Люськи.

Он сдвинул фуражку на затылок, и я увидел, что он лыс.

— Не психуй, Женя, — сказал я. — Все устроится.

Во дворе мото клуба стояла вся наша техника: темные туши «тон-вагена» и «лихт-вагена», «ГАЗ-69», автобус, а над всем этим, как шея загадочного жирафа, повисла стрела операторского крана. На балконе освещенный луной сидел в одной майке Барабанчиков. Он наигрывал на гитаре и пел, томясь:

Ах, миленький, не надо.

Ах, родненький, не надо...

«Может быть, это Барабанчиков сочинил поэму «Проститутка», — подумал я и по стене, в тени, чтобы он меня не заметил, прошел в вестибюль. Здесь я подсел к телефону и набрал 2-41-59. Длинные гудки долго тревожили ухо. Я отражался в зеркале, бледный хорошо одетый молодой человек. Завтра натяну брезентовые штаны и свитер, наемся как следует и буду толкать тележку.

— Диспетчер.

— Здравствуйте. Говорит пассажир машины 58-10.

— Что случилось?

— Ровным счетом ничего. Запишите, пожалуйста, благодарность водителю Евгению Евстигнееву.

— Что за дурацкие шутки? Вы бы еще в пять утра позвонили.

— Какие шутки? Меня прекрасно обслужили, вот и все.

— Нам только жалуются, и то днем, а не по ночам.

— А я не жалуюсь, вы поняли?

— Черт бы вас побрал! Почитать не даете!

— А что вы читаете?

— «Лунный камень».

— О! Тогда простите. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

4. Утро началось с того, что приехала милиция за Барабанчиковым. Оказывается, он вчера, в большом количестве выпив пива и портвейна, насильственным образом изъясил кольцо у работницы прядильной фабрики Вирве Тоом, а также угнал велосипед дорожного мастера Юхана Сеппа. Барабанчиков уверял, что на него нашло затмение, но младший лейтенант, голубоглазый эстонец, не понимал, что такое затмение. Увели Барабанчикова и на глазах всей группы посадили в «раковую шейку».

А утро было прекрасное в этот день: дождь низвергался с небес, пузырьки циркулировали по лужам, сосны стояли в порослях холодных чистых капель. Группа давно ждала дождя: надо было отснять небольшой эпизод в дождь. Режиссер наш Григорий Григорьевич Павлик предлагал устроить искусственный дождь, но оператор Кольчугин настаивал на натуральном дожде, артачился и поссорился с директором картины Найманом. Сейчас дождь всех радовал, все торопились на съемку. Дождь был прекрасен для съемки, не говоря уже о том, что он был прекрасен сам по себе в своей холодной и чистой настойчивости. Все это понимали, даже Барабанчиков, который, перед тем как сесть в машину, поднял голову и отдал свое лицо дождю, потом вытер лицо кепкой и уж тогда нырнул в решетчатый сумрак неволи.

В вестибюле было организовано летучее профсоюзное собрание, на котором выступил реквизитор Камилл Гурьянович Синицын, седой человек с лицом незаурядного оперного убийцы.

Лицо этого человека известно всей стране, потому что многие режиссеры «Мосфильма» охотно берут его

на роли эпизодических злодеев, но его самого никто не знает.

Он чуть не плакал, Синицын, говоря о Барабанчикове. Оказалось, что он вот уже много лет следит за его судьбой, дает ему читать книжки и даже помогает материально. Оказалось, что спокойствие Камилла Гурьяновича и его вера в жизнь во многом зависят от судьбы Барабанчикова.

Времени было мало, все торопились, и поэтому сразу после выступления Синицына голосованием постановили взять маляра Барабанчикова на поруки.

Потом мы быстро погрузили приборы, напихались в грузовик, в «газик» и в «тон-ваген» и рванули. Я сидел в кузове грузовика в своих брезентовых штанах, в свитере и в шапочке с длинным козырьком, так называемой «фаэрмэнке», которую мне подарил товарищ, матрос-загранщик. У меня был очень кинематографический вид, гораздо более кинематографический, чем это полагалось простому такелажнику. На плечи я накинул какую-то мешковину, но все равно быстро весь промок, хохотал с такими же мокрыми ребятами, и было мне в это утро удивительно хорошо.

Место, давно облюбованное для этого эпизода, было на повороте шоссе, там, где в соснах сквозило серое море, где над кюветами нависали дикие валуны, совершенно безлюдное, мрачное место. Когда мы подъехали, оказалось, что творческий состав, жильцы «Бристоля», нас уже ждут. Они стояли под соснами, но это не спасало их от воды, струившейся меж ветвей. Таня съежилась, плащ ее облепил, она была жалкой. Андрей Потанин тоже был мокрый, но бравый, как всегда. Павлик сторбился, ушел в воротник, он сидел на пеньке, выставив только нос из-под бере-

та, и, вытянув вперед палку, смотрел в одну точку, видимо размышляя о «новой волне», об Антониони, бог знает еще о чем. Кольчугин и его ассистенты сияли. Тут же торчал неизвестно зачем и автор, одетый в дешевые штаны и курточку, измятые так, как будто они были вынуты прямо из стиральной машины.

Костюмерши, гримерши и ассистентки, стеная, бросились к Тане с плащами и одеялами.

— Танечка, бедненькая наша! Промокла, деточка! — кричали они.

Надо сказать, что в любой киногруппе исполнительница главной роли всегда считается бедненькой, миленькой, самой красивой и самой талантливой, ужасно несчастной, маленькой деточкой, ее всегда боготворят и трясутся над ней.

Кольчугин и второй оператор Рапирский наслаждались дождем, и, видно, руки у них зудели, особенно у Кольчугина. Они воздевали руки к небу и причитали:

Дождик, дождик, пуше!
Дам тебе гуши!
Хлеба каравай!
Весь день поливай!

— Весь день не надо, — строго сказал Нема. — У нас сегодня еще режим.

Мы устанавливали приборы, тянули кабель от «лихт-вагена», монтировали «митчел» на операторскую тележку, натягивали палатку для Андрея и Тани. Пустынный этот и дикий уголок оглашался криками и стуком. Для веселья звукотехники пустили через динамик ленту с записями Дейва Брубeka. Все бегали, все что-то делали или делали вид, что делают. И только Павлик сидел один среди этой ярмарки в позе

роденовского «Мыслителя», тоже в общем что-то делаю.

— Где же машины? Где же, Немочка, машины? Где же они, золотая рыбка? — наседали на администратора Кольчугин и Рапирский.

Приехали машины, самосвал притащил на буксире «Волгу» с разбитым капотом, а за ними прикатила целая «Волга», такого же цвета, как разбитая.

Суть эпизода состояла в следующем. Таня и Андрей гонят куда-то (я не знал содержания сценария), гонят куда-то на «Волге». Здесь, на этом месте, столкновение с грузовиком. «Волга» в кювете. Таня и Андрей пострадали, но только слегка. Они, значит, некоторое время должны промаяться в кювете, возле машины и поссориться окончательно, а потом Таня побежит в лес, а Андрей, значит, за ней, не будь дурак, и тут, значит, наплыв.

Наконец все поставили, установили. Кольчугин и Рапирский заняли свои места, из палатки вылезли уже в гриме и костюмах Таня и Андрей, и тут заметили, что на площадке нет режиссера. И под сосной его не было. Побежали искать и нашли за «тон-вагеном». Павлик с автором стояли друг против друга и о чем-то страстно спорили. Дождь стекал с них ручьями. Понять, о чем они спорили, было совершенно невозможно, потому что они только мычали и выкрикивали иногда какие-то слова. Крутили пальцами у носа, дергали друг друга за пуговицы, хлопали друг друга по плечу, мычали и кричали.

Павлик:

— М-м-м, нет-нет, м-м-м, что вы, Юра! М-м-м, Белинский! М-м-м, народ, культура, м-м-м, во все века, Юра!

Автор:

— М-м-м, новая волна, м-м-м, Григорий Григорьевич, м-м-м, экспрессия, м-м-м, кино как таковое, м-м-м...

Развязный Нема подошел и толкнул режиссера в бок.

— Прикажете записать простой, Григорий Григорьевич? Простой на почве идейных столкновений?

— Ха-ха-ха! — словно смущенный сатана, захохотал Павлик. — Боже мой, Нема! Господь с вами, Нема! Милостивый боже!

Закинув под мышку трость, он засеменял к площадке, маленький, сгорбленный, в огромном обвисшем берете.

Зажглись осветительные приборы. Дождь повис перед ними хрустальными дымными шторами, тут и там на грани серого света и яркого сияния приборов возникало подобие радуги.

Кольчугин сел на тележку к «митчелу», я поместился за его спиной и налег грудью на ручку. Не знаю, почему именно меня выбрали на роль толкателя тележки, — может, Кольчугину импонировала моя кепка?

Разбитая «Волга» уже сидела боком в кювете. Таня стояла, опершись на нее рукой, у нее было обреченное лицо. Андрей пытался открыть капот. Дождь поливал на славу.

К актерам подбежал Рапирский, замерил экспонометром лица.

— Валя, приготовься, — дребезжащим голосом прошептал Кольчугин.

— Мо-о-гор! — взревел Павлик.

На площадку выскочила ассистентка, шелкнула хлопушкой.

— Поехали, Валя! Медленно! — на последнем издыхании произнес Кольчугин. Голова его была покрыта курткой, он застыл, слился с камерой, только нервно шевелился прошитый суровыми нитками зад.

Я медленно повез его вперед. Камера заработала.

Таня (*подняв голову, высоким голосом*). Допрыгались, мой мальчик!

Я заметил сжатые кулаки на груди автора и восторженные глаза Павлика.

Андрей. Перестань хныкать. Какая ты зануда!

Таня. А ты бездарная личность! Бездарь! Бездарь!

Она садится на обочину и закрывает лицо руками. Андрей молча смотрит на нее. Павлик делает какой-то жест. Андрей вытаскивает сигарету, пытается зажечь спичку. Спички промокли. Он выбрасывает их.

Таня. Что мне делать, Саня?

Андрей (*садится рядом с ней, пытается ее обнять*). Прежде всего сохранять юмор.

Таня (*как маленькая, тычется ему в ладони*). Сам сохраняй свой юмор. Надоел мне твой юмор, весь ваш юмор. Нет у меня юмора! (*Отталкивает его и вскакивает.*) Вот он, твой юмор! (*Показывает на машину.*)

Андрей. Ленка!

Таня. Катись!

Она прыгает через кювет, лезет вверх по валунам.

— Валя, быстро отъезжа-а-ем! — бодро скомандовал Кольчугин.

Я покати́л его назад.

Андрей (*из кювета*). Куда ты?

Таня (*сверху*). Я возвращаюсь на турбазу.

Андрей. Не смей! Подожди!

Таня убегаёт в лес. Андрей огромными прыжками несется за ней.

— Стоп! — гаркнул Павлик.

Приборы погасли. Костюмерши, гримерши и ассистентки с одеялами и плащами побежали к Тане. Она подошла, закутанная, только личико высывалось из каких-то платков.

— Ну как? — спросила она.

— Хорошо пробежала через кусты, — сказал Кольчугин. — Брызги так и посыпались. Полить эти кусты! — крикнул он назад и показал рукой.

Не хватало ему дождя. Ребята побежали с ведрами к кустам.

— Ну как? — повторила Таня и обвела глазами всех. Беззвучно спросила меня: «Ну как?»

— Красиво, — сказал я. — Суровая современная драма, ничего не скажешь. Очень красиво.

Все обернулись и посмотрели на меня. Даже Круглый. Автор улыбнулся.

— Слышите, — сказал он Павлику, — я вам говорил! Голос народа.

— Готовить второй дубль! — крикнул Павлик, взял под руку автора и отошел с ним. Через секунду они уже тыкали друг в друга пальцами и мычали.

Таня и Андрей опять полезли в кювет. Чтобы согреться, они подпрыгивали под музыку Брубeka.

— Все по местам!

— Выключить музыку!

— Внимание!

— Мо-о-тор!

И снова.

Таня. Допрыгались, мой мальчик!

Андрей. Перестань хныкать! Какая ты зануда!

После третьего дубля Нема стал нервничать и приставать к Павлику, бубня о перерасходе пленки. На всякий случай сделали еще один дубль. Потом Кольчугин потребовал кран. Дождь утихал, и поэтому Кольчугин сильно нервничал, прыгал, кричал, обзывал всех лентяями, дураками, золотыми рыбками. Мы потащили кран в лес, тянули его, словно бурлаки. Все уже перестали обращать внимание на дождь, как будто никогда в другой обстановке и не работали.

Мы старались все вместе, лихо и весело, москвичи и ребята с эстонской киностудии, взятые здесь в помощь. Мы кричали эстонцам «Яан, туле сиа! Тоом, куле сиа!», а те нам: «Валька, давай!», «Петя, в темпе!» — и было это хорошо.

Подошла Таня и тоже ухватилась за кран возле меня.

— Правда, тебе не нравится сценарий? — спросила она.

— Я не читал, а эта сцена смешная.

— На экране будет не смешно.

— Может быть.

Мы замолчали и молча стали тянуть кран. Таня действительно тянула, напрягалась. Прямо перед моим носом торчало ее напряженное ухо.

— Но ты хорошо работаешь, — сказал я, — нервничаешь. Кажется, действительно становишься актрисой.

Она обернула ко мне вдруг просиявшее лицо. Сияющее, поразительное, дерзкое, мальчишеское, девчоночье, вспыхнувшее, как юпитер, лицо. Я был поражен: неужели она в таком напряжении находится, что простая похвала сквозь зубы может ее осчастливить?

Подбежала гримерша.

— Танечка, пойдем, я поправлю тебе тон.

Таня пошла с ней, еще раз бросив на меня совершенно сверкающий, черт возьми, именно так, совершенно сверкающий наивным торжеством взгляд.

Только не смотреть, не оборачиваться, пережить эту минуту, потому что сейчас она обернулась, я знаю, только толкать кран с бычьей настойчивостью, и ничего больше иначе — все сначала и — прощай!

Кольчугин и Рапирский взобрались в седла и взмыли на стреле крана вверх под своды деревьев. Они висели в молочном просвете, откуда черными точками возникали дождевые капли, и кричали, и ругались. Подошли режиссер и автор.

— Кольчугин! — закричал автор, задирая голову. — Замедляйте темп, прошу вас! Плюньте на пленку!

— Сам знаю без вас! — крикнул с неба Кольчугин.

Павлик, снисходительно и нежно улыбаясь, взял автора под руку и отвел его в сторону.

— М-м-м, поймите, Юра, вы прозаик, м-м-м, наше грубое искусство, ха-ха-ха, м-м-м...

Наконец все было готово, прошла репетиция перед закрытым объективом, и началась съемка.

Андрей бежит через кусты. Рот у него раскрыт, он похож на американца. Задыхаясь неизвестно уж отчего, он бежит через кусты. Порвал рубашку.

Нога Кольчугина дернулась от удовольствия.

Стрела описала параболу.

Таня бежит через кусты, вытирает мокрое лицо рукавом, откидывает волосы, бежит, бежит моя девочка. Так бежит, что мне становится горько оттого, что она так не убегала от меня в ту пору.

Опять Андрей бежит, ветки его секут. Выбегает на полянку, смотрит направо, налево, лицо растерянное.

Теперь Таня медленно идет по лесу, отводит рукой папоротники. По-детски изумляется — нашла гриб, великолепный боровик. Ой, еще гриб! Еще! Еще! (Грибы натыканы ассистентами пять минут назад.)

Теперь Андрей увидел, что она собирает грибы. Лицо его светлеет, любит он ее, Таню, то есть Лену. Теперь они вместе собирают грибы, ползают по траве, как дети, смеются. Он погладил ее по щеке. Целуются. Андрей обнимает Таню за плечи, они склоняются к траве.

— Стоп! — крикнул Павлик после третьего дубля, снял берет и торжественно махнул Кольчугину. — Ваше слово, геноссе Кольчугин! Прошу вас — соло на «митчеле»!

— Внимание! — заорал Кольчугин. — Артистов прошу оставаться на месте!

— Танечка замерзла! — пискнула костюмерша.

— Молчать! Мы тут не в игрушки играем! Артисты — на место! Сжимай ее в объятьях! Внимание! Мо-о-тор!

Стрела крана с висящими на ней операторами качалась вверх-вниз. Все смотрели на Кольчугина. Нема держался за голову, страдая за пленку. Кольчугин исторгал какие-то звуки, ругался.

— Стоп! — вдруг скомандовал он и крикнул Андрею: — Ложись на нее! Ложись, говорю!

Он был словно без памяти, как говорится, в святом творческом волнении, и он был безобразен в этот момент, и то, что он не называл Таню по имени, а кричал: «Ложись на нее!», и то, что Андрей, жалобно

улыбаясь, действительно лег «на нее», — весь этот деспотизм и грязь творчества, все это всколыхнуло меня так, что в глазах побелело от ярости и еще от каких-то чувств, похожих на те, прежние.

«Я изобью сегодня Кольчугина. Придерусь к чему-нибудь и дам ему по роже, — думал я. — Свинья такая, свинья! Нашлепка мяса на «митчеле»! Вдохновенная мразь!»

Кольчугин еле слез с кресла и свалился в траву. Вытер лицо подолом рубахи. Он не поднимал глаз на людей, ему, видно, было стыдно. Ну, допустим, это я понимаю: когда пишешь, тоже бывают моменты, когда стыдно, но... Да, я его понимаю, понимаю, и все, нет никакой злобы, все прошло.

Подошли Таня и Андрей. Таня кусала губы, смотрела в сторону, была бледна, Андрей тоже был не в себе. Кольчугин поднял голову и улыбнулся жалкой и усталой улыбкой.

— Танечка, прости. И ты, Андрюша. Так надо было, — проговорил он.

— Ведь этого же нет в сценарии, — сказал Андрей.

— Да ладно, ерунда какая, — сказала Таня и взглянула мельком на меня.

— Зато какие кадры, ребята! — Кольчугин встал, грязный, как свинья, и сделал нам знак. — Мальчишки, копайте яму.

Подошел Павлик.

— Простите, какую еще яму?

— Прошу прощения, Григорий Григорьевич, мое соло еще не кончилось. Я этого дня долго ждал. Сейчас сниму из ямы — и все.

Мы выкопали ему яму, и он потребовал навалить

возле нее пустые консервные банки и мокрые газеты и бросить бутылку из-под водки. Потом он влез в эту яму и еще раз снял оттуда Андрея и Таню.

Они уходили обнявшись, а он снимал их, имея на первом плане бутылку, газеты и консервы.

— Все равно вырежем, — тихо сказал Павлик Неме. — Я бы не вырезал, но худсовет все равно вырежет.

— Мы должны это отстаивать, — сказал Нема.

— Попробуем, — вздохнул Павлик.

На этом закончились утренние съемки.

Первую часть эпизода, столкновение машин, снять не удалось, потому что дождь кончился, голубые просветы в небе расплзались все шире и шире, и вдруг блеснуло солнце, и все капли вспыхнули, и напряженное состояние группы сменилось усталым умиротворением, удовлетворенностью, тихой дружбой. Черт возьми, мы хорошо поработали!

Все хозяйство свернули за десять минут и поехали обедать развеселой кавалькадой: впереди легковые машины, потом «газик», потом автобус, лихт-ваген, тон-ваген, потом грузовик и кран за ним на буксире, а в грузовике мы, осветители и такелажники, и среди нас почему-то затесалась Таня. Черные волосы ее развевались, и она подставляла лицо солнцу, а иногда взглядывала на меня; кажется, ей хотелось, чтоб я ее обнял, как когда-то обнимал в такси.

5. В этот день нам удивительно везло. После обеда распогодилось так, что мы помчались на пляж снимать плановый эпизод, о котором с утра никто даже и не думал. Пока ассистенты сгоняли

массовку, мы все разделись по пояс и легли в шезлонги. Пришел Рапирский, тоже голый по пояс, покрытый пушистой и курчавой растительностью. Он был очень расстроен. Оказалось, что у него возле киоска украли замечательную шерстяную рубашку, «фирменную», как он сказал. Утешали его довольно своеобразно: «Ничего, Игорь, вон тебе какой свитер мама связала, его уж не украдут». Имелась в виду его растительность. Рапирский ругался — он любил «фирменные» вещи, но потом вдруг развеселился и прочел стихотворение: «Служил Рапирский лицемером, Рапирский лица замерял. Не обладая глазомером, на пляже «фирму» потерял».

Солнце припекало, белое мое тело становилось розовым, я чувствовал, что сгорю, но не двигался. Я пересыпал в ладони еще немного влажный песок, смотрел на море, по которому бежали свежие барашки, и гнал от себя мысли. Гнал их, словно ветер, но они снова появлялись и бежали на меня, как барашки в этом ветреном море. Я думал о том, что добился своего, что новый мой щит разрушен, но результат оказался печальным — из головы у меня не выходила Таня. Влюблялся я опять в свою бывшую жену.

Так или иначе, но тут я заметил на пляже возле самой воды высокого худого парня, по-видимому студента, который листал журнал. Лица студента я разглядеть не мог, но зато отчетливо разглядел обложку журнала и понял, что это тот самый номер, выхода которого я ждал почти полгода. Три моих рассказа были напечатаны в этом номере, это был мой дебют.

Я смотрел на тонкий, не слишком реальный силуэт студента, похожий на фигуру с картины Мане, и

очень сильно волновался. Это мой первый читатель, медленно перебирая ногами, двигался вдоль моря. Не знаю, как вам объяснить чувство, возникшее при виде первого твоего читателя. Ведь пишешь-то не только для самого себя, пишешь, чтобы читали, чтобы люди общались с тобой таким образом, но все же, когда видишь первого своего читателя, видишь, как он трогает руками твое, личное, ничем не защищенное вещество, то возникает совсем особое чувство.

Я уже столкнулся с этим в редакциях, с этим странным чувством, когда твое, личное, над которым ты краснея, охал и воспаряя, попадает в работу редакционного аппарата и ты уже просто становишься автором, а рукопись твоя суть входящая рукопись, которую следует обработать, по меньшей мере прономеровать и написать внутреннюю рецензию.

Когда же видишь первого своего читателя, это чувство усиливается во сто крат, ты понимаешь, что теперь уже любой может взять тебя в руки: умный, глупый, ленивый, восторженный, и те, что смеются над всем и вся. В этом смысле требуется стойкость, но я уже чувствовал грань, за которой начинается цинизм.

Высокий парень закрыл журнал, положил его в папку и повернулся ко мне. Я увидел, что это Кянукук. Вот какой мой первый читатель. Он шел, озираясь по сторонам, крутя маленькой головой. Потом он сел на песок, повозился там и встал уже не в длинных брюках, а в белых шортах. Затем сложил брюки, сунул их в папку, снял очки и тоже положил в папку. Только после этого он направился прямо к съемочной площадке. Подошел вплотную и остановился, искательно улыбаясь и ворочая головой, но

на него никто не обращал внимания. Наконец он поймал мой взгляд и сразу устремился ко мне.

— Привет работникам кино! Из всех искусств для нас главным... Здравствуй, Валентин!

Удивительно было, что он запомнил мое имя.

Он сел рядом со мной прямо на песок, вынул журнал, раскрыл его, но читать не стал, а спросил, вытягивая шею и глядя в сторону:

— Ну, как успехи?

— Восемнадцать, — ответил я и проследил направление его взгляда. На площадке стояли Таня в купальнике, Андрей в плавках, вокруг них бегал Павлик, они репетировали.

— Что восемнадцать? — спросил Кянукук.

— Ничего.

Он захохотал.

— В киоске купил? — спросил я и взял у него журнал.

— Да, пришлось разориться, ничего не поделаешь, слежу за литературой авангарда, — быстро заговорил он. — Раньше я выписывал все журналы, абсолютно все. Даже, представь себе, «Старшину-сержанта» выписывал, представляешь? Сейчас не могу позволить, бензин на ноле. Ты знаешь, что такое бензин на ноле? Не то что совсем нет, а на два-три выхлопа осталось.

Я открыл журнал и полюбовался на свою физиономию, а также полюбовался шрифтом: «Валентин Марвич. Три рассказа».

— Ты для меня загадка, Кянукук, — сказал я.

— Как ты меня назвал? — поразился он.

— Это не я, а твои дружки, эти, с браслетками, так тебя назвали.

Он опять захохотал.

— Люблю московских ребят. Остроумные, черти! — сказал он. — С ними весело. Ведь как делается: я тебе кидаю хохму, ты ее принимаешь, обрабатываешь, бросаешь мне назад, я принимаю, обрабатываю — и снова пас тебе. И ведь так можно часами!

— Послушай, сколько тебе лет? — спросил я его.

— Двадцать пять.

— Ты что, с луны свалился, что ли?

— Да нет, я сам из Свердловска, — заторопился он. — Пережил...

— Знаю, знаю. Пережил тринадцатидневную экономическую блокаду. Ты не болен, случайно?

— Как тебе сказать? Организм, ха-ха, держится только на молоке. Молоко — это моя слабость. Ежедневно до десяти стаканов. Две у меня слабости...

— Ну ладно, кончай! — грубо оборвал я его. — Меня ты можешь не развлекать, я развлекаюсь иначе. Скажи, специальность у тебя есть?

— Вообще-то я радиотехник, — проговорил он, — но... Тут один пожилой человек обещал устроить корреспондентом на местное радио. Проникся он ко мне сочувствием, понимаешь ли, старик.

— Чем же ты его купил? Своими хохмами?

— Да нет, просто когда-то в юности он тоже был одинок, — печально ответил Кянукук.

— А ты одинок?

— Разумеется.

— Родителей нет?

— Есть, но...

— А девушка?

— Ха-ха-ха, девушка! Девушки приходят и уходят. Сам знаешь, старик!

— Друзей нет?

— Но... Понимаешь ли, старик...

В это время послышался голос второго режиссера: «Внимание! Все по местам!» Массовка была уже расставлена, репетиция закончена, отовсюду к съемочной площадке бежали наши.

— Потом поговорим, ладно? — сказал я.

— Ага, — сказал Кянукук, но все же поплелся за мной.

Он увидел Таню и долго безуспешно салютовал ей, она его не замечала. Наконец она посмотрела на меня и его заметила.

— О Кянукук! — сказала она. — Какой у тебя шикарный вид!

— Колониальный стиль, — радостно сказал он. — Правда, Таня? Еще бы пробковый шлем и стек, а?

— Замечательно получилось бы, Витя, — сдерживая смех и подмигивая мне, сказала Таня. — Ты был бы великолепен в пробковом шлеме.

Но я не реагировал на ее подмигивания, стоял с безучастным видом, и это как-то неприятно подействовало на нее.

Прямо за нами на опушке леса я увидел тех трюх. Они лежали за дюной, над песком торчали их головы и мощные, обтянутые свитерами плечи. Они смотрели на нас и пересмеивались. А Кянукук продолжал смешить Таню.

— Моя мечта — собственный конный выезд. Представляешь, Таня: полковник Кянукук в пробковом шлеме в собственном кабриолете.

— Да, да, представляю, Витя, — устало проговорила Таня и отошла.

Кянукук огорченно посмотрел ей вслед — не рассмешил. Потом он заметил тех троих, приветственно помахал и направился к ним, высоко поднимая длинные слабые ноги.

Странный какой-то это был паренек. В его беспрерывной развязной болтовне и в глазах, жадных и просящих, была незащищенность, что-то детское, недоразвитое и какое-то упорство, обреченное на провал.

«Надо поговорить с ним серьезно, — решил я. — Может быть, нужно ему помочь?» Смешно, да? Нет! Я прошел, наверное, через все фазы наивного цинизма. Не знаю, всем ли необходима его школа, но я пришел сейчас к каким-то элементарным понятиям, к самым первым ценностям: к верности, жалости, долгу, честности, — вот что я исповедовал сейчас: «Милость и истина да не оставят тебя». Не знаю, верно ли я угадываю людей, верно ли угадываю себя, но я стараюсь угадывать, я учредил в своей душе кассу взаимопомощи. Что я могу сделать для них? Ничего и все: жить, не устраивая засад, не готовя ловушек, протягивать открытые ладони вперед. Я достаточно дрался кулаками, и ногами, и головой, головой снизу вверх с разными подонками; меня лупили кулаками, ногами, а однажды и кастетом, но лупили также и улыбками, и рукопожатиями, и тихими голосами по телефону, а я не умею драться улыбкой, рукопожатием, тихим голосом, да и не нужно мне этого, потому что драка пойдет уже не только за себя. Научиться драться только за себя — это нехитрая наука.

Съемки продолжались еще три часа, и тут уже неистовствовал Павлик. Сегодня он поставил личный рекорд на одном эпизоде — девять дублей! Все очень устали, а предстояли еще ночные съемки в крепости, и поэтому, когда солнце быстро пошло на спад и стало красным шаром и волны окрасились в красный цвет, все потянулись в столовую молчаливо, с трудом вытаскивая из песка ноги, думая только о том, что завтра обещан отгул.

В столовой возле буфета стояли те трое и Кянукук. Они пили «карбонель» — видно, денежки водились у тех троих. Я прошел с подносом через весь зал и поставил его на Танин стол.

— Можно к вам? — спросил я Таню, Андрея и Кольчугина.

Я нарочно сел к ним, чтобы тем троим неповадно было лезть к Тане. Но все-таки они подошли, в руках у одного была бутылка «карбонеля». Подошли и сразу стали сыпать какими-то шуточками, какими-то изощренными двусмысленностями, понятными только им одним. За их спинами подпрыгивал Кянукук со стаканом в руках.

— Здравствуйте, мальчики, — устало сказала Таня, ковыряясь вилкой в рубленом шницеле.

— Вам, друзья, по-моему, в самый раз будет сделать по глотку доброго старого коньяка, — сказал один из троих.

— Хороша карболка! — шелкнул языком Кянукук. Они захохотали.

— А знаешь, Таня, он не лишен, — сказал другой.

Третий сходил за стаканами, и всем нам налито было «карбонеля». Я сидел к ним спиной, ел макарон-

ны, и меня все время не оставляло чувство, что на мою голову может сейчас обрушиться эта бутылка с заграничной этикеткой. Когда передо мной оказался стакан, подвинутый рукой с перстнем, я встал, забрал то, что не доел — компот и все такое, и пересел за другой столик.

— Ты что, Валя? — испуганно спросила Татьяна.

— Просто не хочу пить, — сказал я. — Освобождаю место.

Те трое с долгими улыбками посмотрели на меня. Усатый взял мой стакан и вылил из него коньяк на пол, рубль сорок коту под хвост. Я похлопал в ладоши. Он весь побагровел. Двух других смутил поступок усатого, они были поумнее его. Но тем не менее они все подсади к Таниному столу, и за их широкими спинами я уже больше ничего не видел.

6. Казалось бы, производство, график, план — тут не до шуточек и не до сантиментов. Это верно, как верно и то, что сто человек — это сто разобщенных характеров. Бывает так: работа идет по графику, все что-то делают, отснятый материал увеличивается, но властвует над всеми какое-то мелочное раздражение, кто-то на кого-то льет грязь, кто-то замкнулся и ушел в себя, кто-то сцепился с кем-то по пустякам, и тогда это уже не работа и материал, это брак.

Чувство разобщенности отвратительно, и вот наступают дни, когда происходит объединение, и тогда делается фильм, лучшие места фильма.

Такое бывает не только с коллективом, но даже с отдельно взятым человеком. Сколько раз я, бывало,

и сам испытывал это. Слоняешься по комнате, курица не можешь найти, перо мажет, бумага — дрянь, звонят друзья, сообщают разные гадости, за столом не сидится, тянет на кровать, тянет в ресторан, тянет на улицу, и там противно, свет тебе не мил. Но вот приходит в твою комнату любимая или голову твою посещает замечательная идея. Самолюбие, обиды, тревога, изжога, уныние — все исчезает. Вдохновение объединяет личность.

Вот и мы в этот день — все, начиная от Павлика и кончая мной, — были охвачены, объединены, слиты в один комок неизвестно откуда взявшимся вдохновением. На ночную съемку приехал даже директор картины Найман. Он, царь и бог подъемных, суточных, квартирных, распределитель кредитов и хранитель печати, считающий творческих работников бездельниками и прожигателями жизни, сейчас сидел на складном стульчике и читал сценарий.

Этот эпизод назывался условно «ночной проход по крепости». Пускали дым, поливали булыжник водой. В глубине средневековой улочки появлялись фигуры Тани и Андрея. Потом переползали на другое место, перетаскивали туда все хозяйство, пускали дым, поливали булыжник, снимали с другой точки. За веревками оцепления толпились горожане.

Часы на башне горисполкома пробили одиннадцать, и горожане разошлись. У нас объявили перерыв на полчаса. Принесли горячий кофе в огромных чайниках. Я получил свой стакан и медленно побрел, отхлебывая на ходу, в какой-то мрачный закоулок, над которым висели ветви могучих лип. Почему-то казалось, что Таня сейчас побежит за мной так, как бегала в этом фильме. Но она не побежала.

— Тот, кто черный кофе пьет, никогда не устает, — прямо над моим ухом сказал Кянукук.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Откуда ты взялся?

— Мне тоже кофе дали, — с гордостью сказал он, показывая стакан. — Вроде бы как своему человеку.

— А зарплату тебе еще не выписали? — поинтересовался я.

Он захотел и стал что-то говорить, но я его не слушал. Мы шли по узкой каменной улице, похожей на улицу Лабораториум, но здесь все же кое-где светились окна. Вдруг он притронулся к моему плечу и сказал задумчиво:

— Одиночество, а, Валентин? По-моему, ты так же одинок, как и я.

— А, иди ты! — Я дернул плечом. — Совсе я не одинок, просто я сейчас один. Ты понимаешь?

— Не объясняй, не объясняй, — закивал он.

— Я и не собираюсь объяснять.

Вдруг эта улочка открылась прямо в ночное небо, в ночной залив с редкими огоньками судов, а под ногами у нас оказался город, словно выплывающий со дна: мы вышли на площадку бастиона. Сели здесь на камни спиной к городу. До нас донеслась музыка со съемочной площадки, играл рояль. Я прислушался — очень хорошо играл рояль.

— Люблю Оскара Питерсона, — задумчиво сказал Кянукук.

— Ого! — Я был удивлен. — Ты, я гляжу, эрудированный малый.

— Стараюсь, — скромно сказал он. — Трудно, конечно, в моем положении, но я стараюсь, слезу...

— А журнал уже прочел? — спросил я и почему-то заволновался. Почему-то мне захотелось, чтобы ему понравились мои рассказы.

— Нет еще, не успел. Прошлый номер прочел от корки до корки. Там была повесть автора вашего сценария.

— Да, я читал. Ну, и как тебе?

— Понравилась, но...

Он стал говорить о повести нашего автора и говорил какие-то удивительно точные вещи, просто странно было его слушать.

— Загадка ты для меня, Витя, — я впервые назвал его по имени. — Объясни, пожалуйста, зачем ты подался сюда?

— Порвал связи с бытом! — захихикал он. — Мне трудно было...

И тут я увидел тех троих. Они стояли в метре друг от друга, закрывая просвет улицы. Руки засунуты в карманы джинсов, ноги расставлены, от них падали длинные тени, теряющиеся во мраке улицы. Молча они смотрели на нас. Кажется, они немного играли в гангстеров, но я сразу понял, что это не простая игра.

— А, ребята! — махнул им рукой Кянукук и сказал мне: — Очень остроумные парни, москвичи...

— Подожди, — оборвал я его, — действительно, они остроумные парни, — и встал. — Что вам нужно? — спросил я их.

— Иди-ка сюда, — тихо сказал один.

В таких случаях можно и убежать, ничего стыдного в этом нет, но бежать было некуда — внизу отвесная стена. Я подошел к ним.

— Ну?



Они стояли все так же, не вынимая рук.

— Если попросишь у нас прощения, получишь только по одному удару от каждого, — сказал один.

— Вы фарцовщики, что ли? — спросил я, содрогаясь.

— Поправка, — сказал другой. — Получишь по два удара, если попросишь прощения.

Я ударил его изо всех сил по челюсти, и он отлетел.

— Валя, зачем? — отчаянно вскрикнул Кянукук.

Вдруг страшная боль подкосила мне ноги: это один из них ударил носком ботинка по голени, прямо в кость. Второй ударил в лицо, и я полетел головой на стену. Первый упал на меня и стал молотить кулаками по груди и по лицу. Я с трудом сбросил его с себя и вскочил на ноги, но тут же сбоку в ухо ударил второй, и все закрутилось, завертелось, запрыгало. Что-то я еще пытался делать, бил руками, ногами и головой снизу вверх, а в мозгу у меня спереди, сзади, сбоку вспыхивали атомные взрывы и трещала грудь, я упал на колени, когда чьи-то пальцы сжали мне горло. Мне казалось, что глаза у меня лопнут, и тут я увидел Кянукука, который прыгал неподалеку, что-то умоляюще кричал и сжимал руки на груди. В это время кто-то заворачивал мне за спину руки. Потом кто-то сел на меня, и удары по темени прекратились.

— Можно было бы и вниз сбросить этого подонка, — донесся до меня запыхавшийся голос.

— Дорогой мой, надо чтить уголовный кодекс, — со смехом произнес другой.

— Ну, пошли, — сказал третий.

На секунду я потерял сознание от боли в таком

месте, о котором не принято говорить. Когда сознание вернулось, я увидел, что они удаляются медленно, в метре друг от друга, подняв плечи, и грубая вязка их свитеров отчетливо обозначена светом луны.

Я сел и прислонился спиной к стене дома. Голова через секунду начала гудеть, как сорок сороков, вернее, как один огромный колокол. Вытащил носовой платок и утер кровь с лица, высморкался. Рядом лежала затоптанная, с переломленным козырьком моя кепка-фаэрмэнка. Я взял ее, сбил пыль, потер рукавом и надвинул на голову. Напротив на каменной тумбе сидел Кянукук. Он, вытянув шею, смотрел на меня и будто глотал что-то, кадык ходил по его горлу, словно поршень.

— Послушай, ты, жалкая личность, у тебя найдется где переночевать? — еле ворочая языком, спросил я.

Он закивал, стал глотать еще чаще, потом встал и протянул мне руку. Мы пошли с ним, он вел меня, как водят раненых на войне, но я, кажется, ступал твердо и только не понимал, где мы идем, куда мы идем, что меня сюда занесло, и что такое земной шар, и что такое человечество, и что такое мое тело, моя душа, и его душа, и души всех людей, нарушились все связи, я стал каким-то светлячком, хаотически носящимся в море темного планктона.

7. Перед глазами у меня дрожал на стене солнечный квадрат, расчерченный в косую клеточку. Под ним — баскетбольный щит с оборванной сеткой. Выше — лозунг на эстонском и русском языках: «Слава советским спортсменам!» Справа и бли-

же висели гимнастические кольца. Еще ближе и слева виднелись параллельные брусья. Виски ломило от холода. Я согнул одну ногу, потом другую, поднял руки и пощупал лицо. Оно было обложено мокрыми и холодными полотенцами. Я сорвал их и сел. Оказалось, я сижу на гимнастических матах. Наконец дошло, что ночевал я в спортзале. Недостигаемый и чистый, как больница, потолок был в вышине, дымный солнечный свет проникал сквозь большие окна, взятые в металлическую сетку. Рядом лежал Кянукук и смотрел на меня.

— Привет орлам-физкультурникам! — сказал я. — Как мы сюда попали?

— А я здесь живу, старик, — ответил Кянукук. — Вернее, ночью. Сторожиха мне сочувствует.

— Знаешь, ты так на сочувствии карьеру можешь сделать. Тебе не кажется?

— Старик! — захохотал он. — Земля еще не успеет совершить оборот вокруг солнца, как я стану корреспондентом радио. Радиокитом, так сказать.

— У тебя есть зеркало? — спросил я.

Он пошарил под матами и протянул мне круглое зеркальце.

Странно, лицо не очень испугало меня. Верхняя губа была, правда, рассечена и запеклась, нос несколько распух, под глазами были небольшие кровоподтеки, но в общем те трое добрых молодцов разочаровались бы, увидев сейчас мое лицо, недоработали они вчера. Впрочем, должно быть, это примочки, заботливые руки Кянукука сделали свое дело.

— Ты моя Мария, — сказал я ему. — Ты сестра милосердия, подруга униженных и оскорбленных.

— Знаешь, Валя, — тихо сказал он, как-то стран-

но глядя на меня, — я сегодня всю ночь читал журнал. Прочел твои рассказы.

— Ты моя первая читательница, — сказал я. — Будь же моей первой критикессой.

— Знаешь, здорово! Ты настоящий писатель! А ведь никто не знал, подумать только!

Я вытащил пачку сигарет. Все они были переломаны, но все же я нашел более или менее крупный обломок и закурил. Голова закружилась.

«Есть выход — повеситься, — подумал я. — Тихомирно покачиваться в какой-нибудь дубовой роще, так сказать, красиво вписаться в пейзаж».

Кянукук помолчал и добавил:

— Если бы мальчики знали, они не стали бы...

— Какие мальчики? — заорал я.

— Те, вчерашние, — пролепетал он.

Мальчики! Я прямо задохнулся от ненависти. Какое слово — «мальчики» для этих штурмовиков, для этой «зондеркоманды», для невинных младенцев весом по центнеру!

— Ты не знаешь, моя милая, — сказал я, — сколько в тебе от проститутки. Я думал, что ты сестра милосердия, а ты самая обыкновенная сердобольная проститутка. Пошли завтракать.

— Если ты считаешь меня жалкой личностью, зачем же ты общаешься со мной?

— Жалкая личность лучше, чем сильная личность, — ответил я, встал и подтянул штаны.

Потом бодро прыгнул на кольца и сорвался с них. Невзирая на первую неудачу, я подтянулся на брусьях и стал махать ногами.

— Пойдем, Валя, — сказал Кянукук, — а то сейчас уже придут сюда эти... физкультурники.

Мы позавтракали в молочной столовой и распростились с Кянукуком до вечера. Я поехал на базу. Там никого не было, все использовали день отгула и разбрелись кто куда. Я умылся, побрился, нашел кусочек пластыря и заклеил ссадину на виске. Потом, вспомнив на секунду Кянукука, надел свежую рубашку, галстук, выходной костюм, английские ботинки и вышел на шоссе. Странной была моя прогулка по шоссе — я чувствовал бодрость, странную бодрость побежденного накануне боксера. Пешком я прошел через весь лес, вышел к пляжу и по телефону-автомату позвонил в гостиницу Тане.

— Таня, — сказал я, — я тебя снова люблю.

— Ну и что? — спросила она равнодушно, но именно так, как я и ожидал.

— Таня, — сказал я, — хочу зайти к тебе.

Она помолчала, потом кашлянула.

— Можно зайти? — спросил я. — Поговорить нужно.

— Только ближе к вечеру, — сказала она. — Я сейчас еду на пляж. Куда ты делся вчера?

— На какой пляж? — спросил я, разумеется сообразив, что ее будут сопровождать те трое да еще разные там физики и Кянукук увяжется — в общем целый шлейф.

— На Высу-ранд.

Я находился на Хаапсала-ранде.

— Хорошо, в шесть вечера, — сказал я и повесил трубку.

Весь день я купался, лежал на солнце, лежал в лесу, рассматривал песок, травинки, муравьев, шишки; подобно японцам, я старался искать гармонию в природе и находил ее — мне было хорошо.

Ровно в шесть я вошел в вестибюль гостиницы и здесь столкнулся с автором нашего сценария. Он уже успел познакомиться с замечательной эстонкой и стоял сейчас с ней, положив руку ей на плечо, одетый на сей раз весьма аккуратно, даже изысканно. Он, видимо, сообразил, что здесь его стиль пижона навыворот не проходит: эстонки любят уважаемых мужчин.

— Это ваши рассказы в журнале? — спросил он.

— Да, мой, — ответил я и немного заволновался.

— Старик, неплохо! Завтра поболтаем на съемке, идет?

— Так оно и будет, — сказал я.

В это время кто-то вошел в лифт, я крикнул «Подождите!», пожал автору руку и побежал к лифту.

В лифте стоял один из троих. Это был лучший из них, красивый молодой человек с прекрасной мускулистой шеей, с тонким лицом. Он посмотрел на меня и спросил очень серьезно:

— Вам какой этаж?

— Шестой, — сказал я. — А вам?

— Тоже шестой, — ответил он.

— Совпадение, — пробормотал я.

Он нажал кнопку. Промелькнул первый этаж и второй. Я старался смотреть на него объективно, как на красивого молодого человека с тонким лицом, отмечая с полной объективностью безукоризненность его костюма и прелесть его затылка, отражающегося в зеркале. Не он ли причинил мне вчера ту боль, от которой я на секунду потерял сознание? «Ну хорошо, — думал я, — ничего не изменится, ведь я дал себе зарок отказаться от кулачных боев и забыть о том великолепном чувстве, которое зовется нена-

вистью, биологической ненавистью, святой ненавистью, как бы оно ни называлось».

Проехали третий этаж. Еле заметно он склонил голову сначала влево, потом вправо — осмотрел мое лицо с некоторым даже сочувствием. Дальше я представил такую сцену.

Я ударяю его в нос. Он стучается головой о стенку лифта, но тут же отвечает мне замечательным апперкотом в живот. Между четвертым и пятым мы опять обмениваемся ударами и до шестого уже деремся без остановки.

На шестом этаже я поворачиваюсь к нему спиной, чтобы открыть дверь, он ударяет сзади ребром ладони мне по шее. Я открываю дверь и пропускаю его вперед.

— Прошу вас.

Он храбро шагает вперед, и я ударяю его ногой в зад так, что он вылетает из лифта и смешно пробегаает несколько шагов по коридору.

На самом деле мы спокойно доехали до шестого этажа и вместе вышли из лифта. Не обращая на него внимания, я направился к Таниному номеру. Он пошел вслед, четко стуча ботинками. Стучали мои ботинки, а чуть сзади стучали его. Мы подошли к двери ее номера.

— Сюда, мразь поганая, ты не войдешь, — сказал я.

Он засмеялся.

— Надо было все-таки сбросить тебя вчера. Пуたешься под ногами.

— Скажи-ка, мразь поганая, как тебя зовут?

Он улыбнулся:

— Меня зовут Потрошитель подонков. Понял?

— Скажи-ка, мразь поганая, папочка у тебя небось шишка на ровном месте?

С этими словами я постучал в дверь, и он отошел.

— Войдите! — крикнула Таня из глубины номера.

— Сегодня сбросим, ладно? — сказал он, уходя. — Или еще что-нибудь сделаем, а?

Я вошел в номер.

— Валька, что с тобой?! — закричала Таня и бросилась мне на шею.

Я стал ее целовать. Она забылась на несколько секунд, и я целовал ее в губы, в глаза, и все мое вчерашнее унижение растворялось, растекалось; она подставляла мне свое лицо, еще ничего не зная, но уже утешая меня, ободряя, — она была настоящей женщиной.

— Что у тебя с лицом?

— Вчера напали хулиганы, — сказал я. — Какая-то портовая шпана.

— Ты был один?

— Да.

— А их?

— Восемь человек.

— Хорошо еще, что финкой не пырнули.

— Да, хорошо, — сказал я.

Она отошла и спросила издали, от окна:

— Ничего опасного?

— Нет, ничего. Просто сделали вот таким красавчиком.

Минуты проходили в молчании, а за окнами начинался закат. Минуты проходили в молчании, а одна стена стала красной. Шли минуты, а из коридора слышались шаги и смех американцев. Я сидел на



тахте, она в кресле у окна. Несколько раз звонил телефон, она снимала трубку и нехотя говорила что-то, от чего-то отказывалась — видимо, от разных встреч. И потом снова молчала.

— Таня, — сказал я, — вышли мои рассказы, Таня.

Это была моя старая привычка: в прежнюю пору любую фразу я начинал с ее имени и кончал им. Она смеялась над этим.

— Да, я читала, — тихо проговорила она. — Здорово.

— Таня, могла бы меня поздравить, Таня.

Она засмеялась.

— Поздравляю.

— Таня, не так, Таня. Иди сюда.

Она послушно встала и пересела на тахту, обняла меня. Я провел рукой по ее груди. Мне было очень странно, как будто я был с другой девушкой, и в то же время разные мелочи воскрешали наши привычки, напоминали о недолгом нашем счастливом супружестве. Мы оба молчали, и только один раз она спросила:

— Это из-за рассказов ты ко мне пришел?

— Нет, — ответил я. — Из-за вчерашней драки.

— Почаще дерись, — шепнула она и стала целовать мое избитое лицо, гладить меня по голове.

Уже настала ночь, когда мы вышли из гостиницы, пересекли площадь и, взявшись за руки, вошли в темные улочки Старого города. Никто нам не мешал, все словно сгнуло куда-то.

Мне казалось, что я говорю ей: «Ты моя единственная любовь на всю жизнь, и мне уже не отвертеться от тебя. Силы небесные соединили нас, и силы земные, и силы морские, магниты всего мира и те, что спрятаны в недрах Луны. Мир рассыпается, как мусорная куча, когда тебя нет. Мир превращается в кристалл, когда ты со мной. Ты моя единственная любовь, и я отвечаю за тебя, за твою защитную жизнь».

Мне казалось, что она отвечает мне: «Мне было тошно и страшно без тебя, ведь ты единственный, на ком кончается одиночество. Все наши ссоры — это

ерунда, а измен не было. Мы будем всегда вместе, и я рожу тебе детей. Наша любовь будет проста, без всяких изломов и ухищрений. Пусть другие хитрят, а наша любовь будет примером для всех».

Мы молча шли по Старому городу под качающимися фонарями, мимо редких витрин, кошки перебежали нам дорогу, изредка проезжали такси, и так мы оказались на улице Лабораториум.

Как сочинял царь Соломон?

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!

глаза твои голубиные».

«О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас — зелень».

«Кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы».

Когда Таня спрыгнула со стены мне на руки, я вспомнил об этом и пожалел, что никто из нас уже не может так сочинить, что несколько раньше это написано.

— Ну и вечерок мы провели, — устало сказала она и пошла вперед по лунному булыжнику. Ей было трудно идти на острых каблучках.

— Таня, — сказал я, — давай заберем назад наши заявления, а, Таня?

— Да? — сказала она. — Восстановим счастливое семейство?

— Ну да. Они прожили вместе сто лет и умерли в один день. Подходит тебе такая программа?

— Нет, — резко сказала она. — Что за глупости? Нельзя же быть таким старомодным... Послушай, Валька, — она обернулась и поцеловала меня. — Ты скоро будешь знаменитым писателем, я

знаменитой актрисой. Ну, вот и все, и никакой идиллии у нас не получится.

— Как ты глупа! — вскричал я. — Глупа и пошла!

— Может быть.

Я взял ее под руку, и мы быстро пошли по асфальту. Она откидывала волосы со лба.

— Ты меня не любишь? — спросил я.

— Не знаю. То, что было сегодня, я никогда не забуду, но завтра так уже не будет, это я знаю.

— Так будет всегда!

— Нет, завтра уже начнется семейная жизнь. Хватит с меня, я намучилась с тобой. Да, я люблю тебя.

— Все дело в том, — проговорил я с большим трудом, — что я не могу тебя оставить одну, тебе будет плохо без меня.

— Пусть будет плохо, — она отбивала дробь своими каблучками, — зато в этом фильме счастливый конец.

Опять я должен был смирять себя, опять должен был бороться со своей глупой мужской гордыней, но я не выдержал опять.

— Тогда я завтра еду, — сказал я. — Получу по почте гонорар и укачу куда-нибудь ко всем чертям.

— Ну что ж, — она вздохнула и остановилась, прижалась ко мне. — Ты только напиши мне. Может быть, встретимся когда-нибудь.

— Понятно, — я оттолкнул ее. — Вот, значит, как ты хочешь? Ведь так ты и шлюхой можешь стать, Татьяна.

— А, брось! — она поправила волосы и пошла вперед.

На следующий день я получил гонорар. Впервые в жизни я держал в руках такую огромную сумму — 637 рублей с копейками. Прямо с почты я заехал к директору картины и взял расчет.

Вечером я уезжал из этого города. Я был хмельным и усталым после сумасшедшего пира, который закатил для технического состава группы. Провожал меня один Кянукук. Мы с ним забросили на верхнюю полку чемодан и рюкзак и вышли на перрон покурить. Я посмотрел на него очень внимательно, и мне почему-то стало не по себе оттого, что я оставляю его здесь, длинного, нескладного, инфантильного, шута горохового.

— Поехали со мной, Витька, — вдруг сказал я. — Двадцать пять минут осталось — успеешь до спортзала добежать за имуществом. А я пока возьму билет.

— Я бы поехал с тобой, Валя, — печально сказал он, — но...

— Что «но»? Некогда рассуждать — беги.

— Нет, не могу.

— Опять будешь здесь всякое дерьмо потешать? Загадка ты для меня, Кянукук. Страшно мне за тебя.

Он нервно захохотал.

— Ну, чего же страшно? Я скоро устроюсь.

— Давай свои координаты, — сказал я.

— До востребования, — сказал он.

Я записал его фамилию, имя и отчество в свой блокнот.

— Скажи, Валя, правду говорят, что ты вчера был у Тани? — вдруг тихо спросил он.

Я посмотрел ему в глаза, он моргал и отводил взгляд.

— Правда, — сказал я, — был у нее.

Он растерянно хлопал глазами под моим взглядом, а потом засмеялся великолепным театральным смехом прожженного циника.

— Вот что значит стать знаменитым! Из грязи в князи, как говорится.

— Ничего, — утешил я его, — вот станешь корреспондентом радио и тоже сходишь к кому-нибудь. — Потом хлопнул его по плечу. — Ладно, я напишу тебе. Глупость какая-то, но я за тебя волнуюсь. Тебе, дружище, еще в индейцев надо играть, а не жить среди взрослых людей. Прощай, Петух на пне.

Я встал на подножку вагона. Поезд еще стоял, но мне казалось, что ветер уже хлещет мне в лицо, и брызги дождя и сажа попадают в глаза, и я включаюсь в мерное, расписанное по графикам движение людей по земному шару.

Я ехал в город Пярну к Сережке Югову, ну, а потом сам не знаю куда — мало ли мест.

— А Таня была моей женой до вчерашнего дня, — сказал я Кянукуку.

ЧАСТЬ II
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1. Вот уже вторая неделя пошла, как Кянукук нанялся разгружать составы с цементом на товарной станции. После первого дня он думал, что не выдержит, сломается пополам. После второго дня тоже думал, что не выдержит, и после третьего тоже. Вот уже семь дней он думал, что не выдержит, но есть-то надо было, и каждое утро он отправлялся на станцию. «Хе-хе, опять пришел», — посмеивались, глядя на него, грузчики, сдвигая на затылок эстонские свои кепки с лакированным козырьком. Кроме профессионалов и Кянукука, в бригаде еще работали три студента, «дикие» туристы, сильно прожившиеся во время своих путешествий и сейчас сколачивающие капитал на обратную дорогу, а также какой-то подгулявший матрос. На четвертый день матрос уже не пришел — видимо, дела его поправились.

Платили ежедневно по три-четыре рубля. Каждый пакет весил пуд. Стояла редкая для Прибалтики жара. Кянукук убавлял в весе, несмотря на чудовищный аппетит и неплохую еду: молока каждый день стаканов по десять, хлеб, мясо, борщи, а по вечерам даже котлета «Спутник» в «Бристоле».

В «Бристоле» он бывал каждый вечер. Появлялся торжественно, приветственно сжимал руки над головой, кланялся и улыбался — полковник Кянукук! Отовсюду ему кричали, все уже знали его.

— Как дела, полковник? — спрашивали москвичи. — Как поживает Лилиан?

Он тайно подмигивал и шепотом начинал рассказывать про Лилиан. Москвичи смеялись, он был доволен.

Он выдумал себе эту Лилиан, прекрасную тридцатипятилетнюю женщину, свою подругу.

Она была из театральных кругов, распространяла билеты. Надо сказать, что это не просто так — распространение билетов. Это в каком-нибудь Свердловске распространение билетов дело простое и малопочетное, здесь же, в Эстонии, это одна из самых почетных профессий.

— Ну да, конечно, самая почетная, — кивали москвичи, а сами тихо умирали от смеха.

Жизнь его с Лилиан была беззаботной и веселой, денег хватало; Лилиан заботилась о нем, как о родном сыне, жили они душа в душу. Дошло даже до того, что он одолжил ей 20 рэ. Так вдруг взял и одолжил 20 полновесных рэ.

— Как же это ты так запутался? — спрашивали его. — По идее она должна тебе деньги давать.

Он соображал, что действительно сказал какую-то глупость, и начинал выворачиваться: мало ли что, временные трудности бывают и у таких женщин, как Лилиан.

— Дело тут не в этом, — говорил кто-нибудь из москвичей, — здесь обыкновенный психологический феномен. Так бывает очень часто: берешь, берешь

деньги у женщины, привыкаешь как-то и вдруг начинаешь ей же одалживать. Психологическое смешение понятий, вот и все.

У Лилиан была квартира из четырех комнат в прекрасном старом доме, не в типовом, конечно. Высокие потолки, зеркальные стекла, старая мебель в викторианском стиле, ванная комната, газ, телефон. В столовой висел портрет ее мужа, погибшего несколько лет назад капитана дальнего плавания. Лучший был капитан в Эстонском пароходстве. Кроме того, у Лилиан была дочка, четырнадцатилетняя девочка, которая обещала вырасти в замечательную красавицу. К Виктору она очень сильно привязалась, и по утрам во дворе — чудесный двор, настоящий сад — они играли с ней в бадминтон.

— Ну вот, подрастет девочка, ты и женишься на ней, — говорили москвичи.

Нет, он не женится на ней, это исключено, он очень уважает Лилиан.

По ночам, лежа на матах, он иногда думал о ней. Ведь есть же где-нибудь в самом деле прекрасная тридцатипятилетняя женщина с грустными и заботливыми глазами, которая и белье отдаст в стирку, и галстук купит, и в любви хороша, и пошутить с ней можно, — она не лишена юмора.

Потом он думал о том, куда же ему деваться. Сторожиха спортзала собиралась уходить на пенсию, а с новым сторожем, еще неизвестно, удастся ли договориться. Может быть, стоило уехать с Валей Марвичем в Пярну, а потом куда-нибудь еще? С таким парнем, как Марвич, нигде не пропадешь, к тому же он писатель, культурный человек, с ним не соскучишься. О возвращении в Свердловск не могло

быть и речи: ведь он знает этот город вдоль и поперек, успел узнать за двадцать пять лет безвыездной жизни. Кроме того, Свердловск расположен в самом центре континента, до моря очень далеко, бригаантины и супер-танкеры обходят его стороной, где-то плывут далеко в опасном тумане, сигналият сиренами.

К восемнадцати годам Кянукук стал мечтать о призыве в армию, в какие-нибудь десантные войска. Ему мерещились частые переброски, слабо освещенные фюзеляжи огромных самолетов, за иллюминаторами несущие плоскости, с которых срываются клочки облаков, дремотное и полное готовности спокойствие его товарищей солдат... Ничего не вышло, забраковали по здоровью: зрение, старые очажки в легких, психическая неуравновешенность. «Никуда ты не годишься», — сказал отец. У отца была слабость к дочке, к младшей сестренке Кянукука. Вот это была его надежда и любовь, а Виктор получился никудышный, хилый, не похожий на него. У матери же вообще не было слабостей, у нее были только обязанности и постоянная унылая озабоченность.

Потом дружки Кянукука стали жениться, обзаводиться семьями, получать квартиры и премиальные, а он все бродил по Свердловску, выискивал разные журналы, мастерил магнитофоны, знакомился с разными приезжими людьми, приставал к ним, словно собачонка; ну, работал, конечно, получал зарплату, но на перекрестках на него налетали странные нездешние ветры. В прошлом году его воображением завладела Эстония — страна автомобильных соревнований и маленьких уютных кафе. Полгода он ходил в городскую библиотеку и читал там все об Эстонии, добросовестно изучал ее флору, фауну, историю;

ее остроконечные готические города маячили перед ним — удивительная страна.

Во всяком случае, величие ночного спортзала успокаивало его, и он начинал думать о Тане, представлял, как она смеется, как поворачивает голову, как быстро она бежит, как она танцует, как вдруг синие ее глаза перестают видеть все окружающее и черные волосы отлетают в стороны. Думая о ней, он засыпал.

На восьмой день «цементной эпопеи» он получил пять рублей. «Живем!» — подумал он и представил огромную коричневую котлету «Спутник» и гарнир к ней. Он направился в спортзал помыться и переодеться.

В спортзале возле одного из щитов тренировались баскетболисты, четверо эстонских пареньков. Кянукук немного постоял и посмотрел на них.

— Знаешь, Тийт, — сказал он одному, — отличные у тебя драйфы идут с угла. Коронный твой бросок.

Потом он помылся в душевой вместе с двумя незнакомыми гимнастами и взял у тети Сельги ключи от кладовки, где хранилось нехитрое его имущество. Надел свою знаменитую защитную рубашку, подаренную год назад одним кубинским студентом. Рубашка эта волновала его воображение чрезвычайно сильно. Сьерра-Маэстра, зенитки на набережной, огромные толпы на улицах Гаваны, борьба, энтузиазм и, конечно, рядом верная подруга в форме народной милиции; старик Сант-Яго, Хемингуэй, Евтушенко.

Потом он направился на почтамт, где совершенно неожиданно получил перевод от родителей, перевод

на 30 полновесных рэ, а также очередное письмо от Вали Марвича. Марвич писал:

«Дорогая моя деточка, жива ли? Мы здесь с Сережей очень мило проводим время. По-прежнему работаю шофером в санатории, а вечерами гуляем с Сережей. Кажется, нам обоим здесь уже надоело, и есть идеяк завербоваться на Камчатку. Моя милая, не соблазняет ли это тебя? По-моему, прогрессивные камчадалы давно ждут твоих рассказов. Представляешь: ты, суровый, мужественный, на улицах Петропавловска; впереди бескрайный океан, а за спиной активно действующий вулкан? Сообщи здоровье Лилиан. P. S. Деньги нужны?»

Кянукук очень гордился дружбой с Марвичем и своей перепиской с ним. Он читал его письма Тане, автору сценария, оператору Кольчугину и многим другим. Только Олегу, Мише и Эдуарду не читал: ведь у них с Марвичем старые счеты. Зря они поссорились и подрались тогда, такие замечательные парни должны дружить.

Тут же повеселевший Кянукук написал и отправил две телеграммы: одну Марвичу, другую родителям. Марвичу он написал: «Живем не тужим здоровье порядке гвардейским приветом полковник Кянукук Лилиан». Родителям послал обыкновенную благодарственную телеграмму.

Потом он зашел в цветочный магазин, подобрал букет, небольшой, но изящный: флоксы, немного зелени. С букетом в руке и с неизменной кожаной папкой под мышкой он пошел по вечернему городу. Над башнями висели разноцветные облака, линия домов на улице Выйду была освещена заходящим солнцем, стекла в домах горели, на перекрестках налетали на

Кянукука странные ветры из его невеселого детства. Он чувствовал, что этот вечер принадлежит ему.

На площади он остановился поговорить о политике с Соломоном Беровичем, чистильщиком сапог. Соломона Беровича беспокоили западногерманские реваншисты.

Потом он медленной, такой шикарной, совершенно московской походкой пересек площадь и вошел в «Бристоль», в кафе.

Вообще-то он не пил и не любил спиртного, разве что за компанию с веселыми ребятами, чуть-чуть, ведь не откажешься, но сейчас заказал графинчик «своего» ликера (200 граммов) — 1 рэ 60 коп., и чашку кофе (15 коп), положил цветы на стол, закурил сигарету «Таллин» и стал глядеть в окно на площадь.

«Так жить можно», — подумал он.

В кафе вошел Эдуард, подсел к Кянукуку. Он положил локти на стол, плечи его, обтянутые шерстяной рубашкой, высоко поднялись.

— Ну и дела, — проговорил он, поглаживая усики, устало позевывая.

— В чем дело, Эдуард? — спросил Кянукук. — Некоторая пресыщенность, а?

— Да нет, — Эдуард почесал за ухом. — Застряли мы тут из-за Олежки, вот в чем дело. Лету уже конец, а он всё еще возится с ней. Знаешь, как такие люди называются?

Он перегнулся через стол и на ухо сообщил Кянукуку, как такие люди называются. Виктора покорило это слово, но из вежливости он все же хихикнул. А Эдуард развеселился, ослабил, застучал пальцами по столу.

— Знаешь, сколько их тут было у меня за месяц? Не угадаешь! И, заметь, ничуть не хуже, ну, может, чуть-чуть.

Он засвистел, молодецки огляделся, выпил Кянукуву рюмку и вздохнул.

— Дурак Олежка! Как ты считаешь?

Кянукук вздрогнул, но взял себя в руки и улыбнулся Эдуарду.

— Солидарен с тобой, Эдуард. Наше дело, как говорится...

И, тоже перегнувшись через стол, шепнул Эдуарду на ухо. Тот удовлетворенно тряхнул своим браслетом.

— Послушай, Эдуард, зачем вы носите эти браслеты?

— Весь Запад так ходит.

Кянукук еле сдержался, представив себе «весь Запад» — миллиард людей, трясущих браслетами.

— Весь Запад, а? — с деланной наивностью спросил он и вскинул руку.

— Весь Запад, — убежденно повторил Эдуард и еще налил себе ликеру.

Он был как бы адъютантом Олега, этот двадцатидвухлетний Эдуард; он имел второй разряд по боксу, водил мотоцикл, знал кое-какие приемы кэтча.

Жизнь его была полна приключений такого рода: «Помню, завалились мы во втором часу ночи с Петриченко во Внуково. Ну, там ведь все его знают: он сын того Петриченко... Да и меня тоже кое-кто. Поужинали мы, значит, на тысячу сто старыми, а у самих ни копыя. «Вот так, — говорим, — батя, обстоят дела». А батя, значит, то есть официант, нам: «Принесите, — говорит, — вечером в «Арагви»,

не забудьте старичка». Вечером, значит, опять приходим с Петриченко в «Арагви», а старикашка уже там, сидит с блондиночкой. Мы ему две с половиной тысячи на стол, а он нам ужин заказывает на семьсот дубов. Блондинку мы, правда, увели. Вот так, фирма!»

Сам он был сыном учительницы, Олег и Михаил относились к нему немного иронически, но он этого не замечал, всегда был верен законам «мужской» дружбы, крепким он был парнем, с некоторой мрачностью в лице, но без тени сомнений в душе.

Вдруг Кянукуж увидел в окно, что у гостиницы остановился автобус и из него вылезли пыльные и усталые кинематографисты. Вот уже несколько дней они вели съемку в известковом карьере недалеко от города. Вытирая рукавом лицо, прошла в гостиницу Таня. Она была в брюках, тяжелых ботинках и штормовке. За ней проследовали другие артисты, потом Павлик, операторы, автор, который все время неизвестно зачем таскался за группой, только мешал.

2. Она вспомнила, как первый раз увидела его на баскетбольной площадке. Это были полшутливые двадцатиминутные матчи: осветители против актеров, потом осветители против «болельщиков». Олег играл за «болельщиков». У него был четкий, совершенно профессиональный дриблинг. Все поняли, что это уже не шуточки, что вдруг появился настоящий игрок, когда он побежал по площадке с мячом, не глядя на мяч, а глядя только вперед. Все сразу увидели его, голого по пояс, в странных пестрых трусах, в нем не было ничего лишнего, со-

вершенно законченная форма двигалась к щиту, эллинский юноша — только, может быть, плечи чуть-чуть широки — продукт естественного отбора плюс поливитамины и научная система развития организма. Таня именно тогда первый раз его и увидела. Он прошел сквозь строй защитников, как нож сквозь масло, и вдруг поднялся в воздух, и долго летел, все летел к щиту, и снизу двумя руками точно положил мяч в корзину — гениально сработали мышцы его спины, рук и ног. Потом он просто дурачился, делал страшные рожи, когда осветители бросались в атаку. Валя вроде бы обманывал его и проходил к щиту, а он бежал за ним следом и хлопал в ладоши, пугал и вдруг мощно взмывал в воздух, когда мяч отскакивал от щита, забирал мяч и кидал вперед, а сам бежал в центре, и здесь мяч возвращался к нему, и он, легко встряхнув кистями рук, посылал его в корзину, а потом опять начинал дурачиться. Вообще все трое были замечательными спортсменами: плавали, ходили на водных лыжах, дурачась, подолгу передвигались на руках, гоняли на мотоцикле, в пинг-понг играли так, что сразу собиралась толпа, но Олег был сильнее всех. Только в азартные игры ему не везло. Иногда по вечерам в номере они играли в кости. Стучали в стакане костяшки, слышались прекрасные слова: «того», «камерун», «врах-тоби», «секвенция». Олег горячился и проигрывал. «Ничего, старик, — говорил Эдик, — не везет в игре — повезет кое в чем другом», — и выразительно поглядывал на Таню. «Заткнись», — говорил Олег. «Пошлишь, дитя природы», — говорил Миша.

Итак, она вспомнила о нем. Дальше она вспомнила о том нелепом дне, когда к ней пришел изби-

тый Марвич, и как нежность хлынула на нее голубой прозрачной стеной высотой с дом. Дальше она вспомнила улицу Лабораториум, прошлую и нынешнюю, все кошачьи свадьбы, свидетелями которых они были, и толкотню голубей под сводами башни. Дальше она вспомнила свое детство у Патриарших прудов, потом чудеса своего успеха: девочка из восьмого класса мечтала стать кинозвездой и вдруг и впрямь стала ею. Все шло, как по писаному, какой ангел занимается ее судьбой?

Она сильно уставала в последнее время на съемках, пока не образовался просвет в графике, и вот сегодня последний день в известковом карьере, а завтра начинается целая неделя отдыха.

В этот вечер все молодые люди, претендующие на ее внимание, почтили ее своими посещениями.

Первым пришел Борис, физик. Пока она мылась, он сидел в кресле и пел арии из опер.

— «Ах, никогда я так не жаждал жизни», — пел он.

Давно пора ему было уехать, но он все торчал в этом городе, насмешливо беседовал с Таней о разных разностях, видимо ждал, когда она сама бросится ему на шею.

— Жду дождей, — говорил он.

Может быть, действительно он ждал только дождей и ничего больше.

Потом пришел Олег и завел с Борисом разговор об электронике, кибернетике, об атомной войне. Этот светский разговор поддержала и Таня.

— Мне нужен только бункер и запас питания. Я гений, — сказал Борис.

— А мне лишь бы выскочить на орбиту — оттуда

я смогу плевать на это дело. Я сверхчеловек, — сказал Олег.

Посмеялись. Олег не видел в Борисе достойного соперника.

Потом вдруг появился автор.

— Знаете, — сказал он, — получил совершенно отчаянное письмо от этого Марвича. Странный какой-то тип. Ведь мы с ним не знакомы, перекинулись буквально тремя словами, а он весь обнажает-ся, раскрывается, черт знает что; пьяный, наверное, был. Вот будет писатель, поверьте мне.

— Все вы, писатели, тряпки, работаете на комплексах неполноценности, — усмехнулся Олег.

— Очень низкий уровень интеллекта у писателей, — сказал Борис. — Проверяли в Америке тестами. Жуткое дело.

— Что касается Марвича, — добавил Олег, — то он хотя и крепкий парень, но все равно тряпка.

— О, господи, надоела мне ваша трепотня, — вдруг сказала Таня, встала и отошла к окну.

А были уже сумерки. Она стояла у окна и смотрела вниз на площадь, где горели люминесцентные фонари и по брусчатке брела маленькая согбенная фигурка со стулом под мышкой. Таня подумала об Олеге, и о Марвиче, и о том человеке там, внизу, кто он такой?

В комнате молчали, почему-то после Таниных слов воцарилось неловкое молчание, потом вдруг автор произнес несколько слов:

— Вы знаете, Таня, я тут пораскинул умишком и сообразил, что влюблен в вас.

— С чем вас и поздравляю! — засмеялась Таня, и все снова стало по своим местам.



— Что будем делать? — спросила она.

— Что бы мы ни говорили, все равно окажемся внизу, — сказал Борис.

— Жалко, нет Мишки, он бы что-нибудь придумал, — сказал Олег.

— Проще всего сразу пойти вниз, — сказал автор.

— Надоело ходить вниз, — сказала Таня. — Хоть бы наверху устроили какой-нибудь буфет, а то все вниз и вниз.



— Наверное, Кянукук уже там дожидается, — сказал Олег. — Посмеемся. Очередная информация о Лилиан. Посмеемся хоть вволю.

— Что будет, если Кянукук вдруг откажется нас потешать? — сказала Таня. — Ведь вы же все сухари моченые.

— Верно, — сказал Борис, — моченные в спирте.

— Странный какой-то парень этот Кянукук, — сказал автор.

— Все у тебя странные, — сказал Олег. —

Обыкновенный дурачок. Да, друзья, вы слышали о Марио Чинечетти?

— Нет, не слышали. Что это такое? — спросил Борис.

— Вот чудачки, ходите тут и не знаете, что в городе сенсация. Приехал Марио Чинечетти, джазовый певец, матрос с чайного клипера, эмигрант, репатриант, итальянец, англичанин, друг Луи Армстронга, художник-абстракционист, победитель конкурса красоты в Генуе и все такое прочее. С сегодняшнего вечера начинает петь у нас внизу. Весь город охвачен волнением, все эти северные девушки в растерянности. За вчерашний вечер он уже успел охмурить трех, выпить весь запас шампанского в буфете, разбил телефонный аппарат, побывал в милиции и выиграл в кости десять рэ у Кянукука.

— Все? — спросила Таня. — Ничего не забыл? Все перечислил, все, о чем сам мечтаешь?

Олег посмотрел на нее, сузив глаза. Когда же это кончится? Когда же, наконец, вся его сила обрушится на нее, подавляя ее гордость, иронию, и все ее жалкие воспоминания, и всю ее болтовню? Так, чтобы она замолчала, замолчала надолго, чтобы стала такой, какой ей надлежит быть, чтобы помалкивала и была жалкой, какими все они были с ним. Когда же? «Скоро», — решил он.

В это время зазвонил телефон. Таня сняла трубку.

— Таня, привет! Это Виктор.

— Какой Виктор? — спросила она.

— Ну... Кянукук.

— А, Витенька, здравствуй! — засмеялась она. — Наконец-то хоть один живой человек позвонил.

— Таня, внизу сенсация! — прокричал Кянукук.

— Знаю, Марио Чинечетти?

— Да. Знаешь, я послушал, как он репетирует, ну, знаешь, это... — Кянукук задыхался от смеха.

— Что? — спросила Таня, заражаясь от Кянукука какой-то детской веселостью.

— Это, знаешь, новая волна, — гулко захохотал Кянукук и вдруг поперхнулся, помолчал секунду, потом спросил, и в голосе его Таня почувствовала сильное волнение: — Может, ты спустишься? Я хочу пригласить...

— Я сейчас иду! — крикнула она, брякнула трубой и побежала к двери, даже не оглянувшись.

В лифте она иронически улыбнулась своему отражению и поправила волосы. Она поняла, что все ее волнения и тяжелые мысли, ее плохая работа на съемках — все это лишь тоска по Марвичу, который опять начал новый цикл своих бесконечных путешествий, и что Олег — это тоже тоска по Марвичу, а звонок Кянукука и ее стремление вниз, к нему — это уж самая настоящая тоска.

Она вдруг подумала: «Я бегу к Кянукуку, как будто он Марвич, как будто сегодня он часть моего Вальки. Смех, но в них действительно есть что-то общее, у Олега этого нет... Я помешалась совсем».

«Итак, мне двадцать три года, — подумала она между четвертым и третьим этажом. — О, моя жизнь в искусстве только начинается! Ах, сколько образов я еще создам! Фу, во мне все еще живет та жеманница с Патриарших прудов. Ух, ненавижу! Зеркало, зеркало, утешь меня. Спасибо, утешило! Большое спасибо!»

В вестибюле, как всегда, было много народу, и

все, как всегда, сразу уставились на нее, на звезду, а она, как обычно, немного растерялась перед таким скоплением людей и, только сделав несколько поспешных шагов по квадратам линолеума, увидела Кянукука.

Вообще он делал вид, что читает журнал, а на самом деле смотрел на нее, и она заметила его как раз в тот момент, когда он смотрел на нее, бледный и серьезный, без обычной своей собачьей улыбки, даже не очень жалкий в этот момент. Но тут же улыбочка появилась, он шагнул навстречу, и она со смехом подбежала к нему.

— Ты опять без Лилиан? Чего ты прячешь ее от нас?

— У нас размолвка, — хихикнул он. — Знаешь, эти странности бальзаковских женщин...

— А кому цветы?

— Это тебе.

— Ого! Ты просто ловелас. Не успел поссориться с одной женщиной, как начинаешь ухаживать за другой?

— Нет, я просто хотел сделать тебе приятное, — пробормотал он.

— Спасибо, Витенька.

Она взяла цветы.

— С каким тонким вкусом подобран этот букет! Он просиял.

— Я хотел пригласить тебя в ресторан.

— На Марио Чинечетти? Как ты заботаешься обо мне!

Она взяла его под руку, и они вошли в ресторан, где аккуратно одетая и подтянутая молодежь церемонно вальсировала в ожидании Марио Чинечетти.

На эстраде сидел джаз в голубых пиджаках и черных брюках, пять человек, — «черно-голубые», так их называли в этом городе. Они загадочно улыбались, когда знакомые спрашивали их о Чинечетти.

Краснолицый и длиннорукий администратор разгуливал между столиков. Предчувствуя скандал, а может быть, и целую серию скандалов, он находился в празднично приподнятом состоянии, предвкушая, как пустит в ход свои длинные ручищи, как налетит на распутившихся молокососов, а потом составит акт, а может быть, и не один. К деятелям кино он относился с уважением и поэтому сразу устроил Таню и Кянукука в углу за отдельным столиком. Тане был страшен этот человек с вывернутыми плечами, с подвижным задом, со свирепой львиной маской, но его неизменно любезные улыбки, обращенные к ней, сбивали ее с толку.

Мосфильмовцы сидели все вместе за большим столом, питались и пили боржом, точно шампанское. Экспедиция затянулась, и все уже сильно поистратились, у всех, как говорил Кянукук, «бензин был на ноле».

— Таня, иди к нам! — крикнул Кольчугин, но она покачала головой и показала на Кянукука.

— Я здесь с кавалером. Полковник бросил Лиан и переключился на меня.

— Тебе везет! — крикнул Нема. — С ним не пропадешь!

Под взглядами «киношников» Кянукук, как всегда, напыжился, чтоб было посмешнее, но когда их оставили в покое, он вдруг тихо сказал Тане:

— Разве обязательно всегда надо мной смеяться? Хоть сегодня не смейся, Таня.

Таня посмотрела на него, но он глядел в сторону. Ей стало неприятно и тошно от жалости к нему. Большие расплюснутые пальцы в желтых мозолях, ссадины на запястьях, обгрызенные ногти с заусенцами. Только сейчас она заметила, что он весь запущенный, хоть и не грязный, не вонючий, что рубашка его под мышкой порвана, а пуговицы пришиты черными нитками, и ремешок сандалеты скреплен проволокой.

Она подумала, что он весь будто создан для забот, для женских забот, что он дитя малое. Она понимает Лилиан, но она-то, Таня, не Лилиан, ей было тошно от жалости. Чего он хочет от нее, может быть, он влюблен в нее? Смешно.

— Ты хочешь мне что-то сказать, Витя? — спросила она мягко.

Кянукук молча вертел в руках стаканчик с бумажными салфетками.

— Что-нибудь важное, да? — участливо спросила Таня. — Что-нибудь задушевное? — уже с фальшивым участием спросила она. — Что-нибудь лирическое? — Она уже не могла бороться с раздражением, с презрением к нему. Ее оскорбляли его серьезность и меланхолия. Ишь ты, что вообразил, шут гороховый!

А он хотел сказать ей: «Ты словно из романов Майн Рида, ты прекрасна и далека. Но я хочу приблизиться к тебе и совершать рыцарские поступки ради тебя. Я совсем заврался, и, честно говоря, мне очень страшно быть одному, но если бы меня прострелили пистолетными пулями, ты положила бы холодное полотенце мне на лоб. Ведь правда? Или нет?»

— Может быть, ты влюблен в меня? — резко спросила Таня и дернула его за рукав.

Он понял, как она взбешена, улыбнулся своей собачьей улыбкой и запел:

— «Он был титулярный советник...»

Она нахмурилась. Он понял, что опять не угодил. И рассмеялся обычным гулким смехом.

— Нет, нет, мое сердце отдано...

— Лилиан! — облегченно засмеялась она и погладила его по плечу.

Теперь все встало на свое место, и она уже могла проявить к нему обычное насмешливое участие.

— У тебя, должно быть, плохо идут дела, Витя? Скажи, ты еще не устроился радиокорреспондентом? Что говорит тот человек, который так же, как и ты, в молодости был одинок?

— Он хочет послать меня учиться в университет.

— В какой еще университет?

— В Мичиганский, — спокойно сказал Кянукук. — В порядке культурного обмена.

Таня вытаращила глаза.

— Что ты такое говоришь, Витя?

— Да, да, в Мичиганский. Сейчас как раз проходят необходимые формальности.

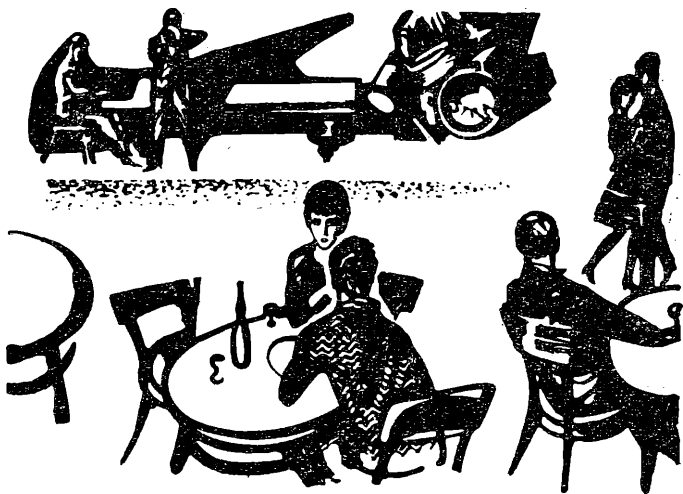
Она вздохнула.

— А живешь ты по-прежнему у Лилиан?

Кянукук почесал затылок.

— Нет, ведь мы в размолвке. Сейчас снимаю комнату в одной интеллигентной семье. Все удобства, белый телефон, представляешь? Одна беда, хозяйка сумасшедшая женщина. У нее гниет нога.

— Да, да, понимаю, — кивнула Таня. — Помиришься с Лилиан.



— Конечно, помирюсь, но я считаю, что мужчина должен быть самостоятельным. Сейчас я занимаюсь обменом на Минск. Меня попросили помочь. Очень сложная история — тройной обмен. Старые, больные, интеллигентные люди. Обратились ко мне за помощью, как к сыну. Это очень сложная история, но в результате, понимаешь ли, Таня... В результате у меня будет своя комната, резиденция, так сказать. Здесь, в замечательном районе, возле парка. Комната с ангресолями, с камином. Представляешь, я сижу перед камином, ноги покрыты пледом, глоток виски, читаю Бомарше и подбрасываю полешки, а?

Таня всплеснула руками.

— Витя, ведь ты все выдумываешь! Ты без конца все выдумываешь, да? Только скажи честно!

Она окинула взглядом Кянукука, его худенькие плечи, поднятые вверх, улыбочку, застывший в глазах страх — и ей показалась, что он в любую минуту может исчезнуть. Трах — и готово, и нет его, пропадет, как призрак, растает, как тают минуты, часы и дни.

— Нет, нет, — сказал он, — я не все выдумываю. Тяга к творчеству, так сказать, обобщенные образы времени. Ты понимаешь?

— Мичиган — выдумка? — резко спросила она.

— Ну, не обязательно Мичиган, может, и Гарвард.

— Обмен на Минск? Камин и все такое?

— Немного фантазии. Что в этом плохого?

— А Лилиан?

Кянукук побагровел.

— Как тебе не стыдно, Таня! Не говори так о Лилиан. Я уверен, что вы полюбите друг друга.

— Ну ладно, ладно, — устало отмахнулась она.

«Мне-то какое дело, — подумала она. — Разве он маленький? Дылда. А если он болен, пусть им занимаются врачи. У меня голова трещит, я устала, мне тошно».

Она стала смотреть в зал, где танцевали фокстрот и среди танцующих то тут, то там мелькала красная львиная маска администратора.

— Я получил письмо от Вали, — осторожно сказал Кянукук.

— Что он пишет? — спросила она холодно, а под столом сжала руки.

— Он собирается на Камчатку.

— Он вечно куда-нибудь собирается.

— Правда, он хороший парень, Таня?

— Все вы хорошие парни, — проговорила она. — Вою еще трое хороших парней. Всю жизнь меня окружают только одни хорошие парни.

Засунув руки в карманы, к их столику пробирались три красавца — Олег, Миша и Эдуард. Олег что-то говорил Мише, а тот горбился, хихикал, насмешливыми глазами скользил по залу. Он был несколько тяжеловат и сутул, у него была короткая мощная шея и лицо восточного типа. Миша считался в их кругу остроумным парнем: он знал все остроты из книг Ильфа и Петрова. Никто не мог так быстро разрешать различные математические парадоксы и разного рода занятные головоломки. Короче говоря, Миша был одним из тех людей, о которых говорят: «Ну уж, он-то что-нибудь придумает».

Они подошли как раз в тот момент, когда официант принес заказанную Кянукуком бутылку шампанского. Эдуард взял бутылку, содрал с горлышка серебряную обертку, открутил немного проволочку, раздался хлопок — пробка осталась в руке у Эдуарда, бутылка слегка дымилась.

Кянукук лихорадочно соображал: бутылка сухого в магазине три рэ ноль семь копеек, а здесь еще наценка пятнадцать процентов, итого — четыре семьдесят пять, целый день таскать цементные мешки. Конечно, он рад угостить друзей, но все-таки, когда считаешь посидеть с девушкой один на один, потягивая «шампанозу», когда планируешь эту бутылочку, собственно говоря, на весь вечер... Дело в том, что из денег, присланных матерью, он замыслил выделить часть на приобретение штиблет. Он давно присмотрел эти штиблеты по девять рублей тридцать копеек. Черные, узкие, они были хороши тем, что

почти ничем не отличались от элегантных вечерних туфель по сорок рэ. Кожемитовая подметка достаточно прочна, хороший уход обеспечит долгую носку. Кянукук чувствовал приближение осеннего сезона, времени дождей, слякоти и мокрых ветров, когда сандалеты уже окончательно выйдут из моды.

Эдуард мастерски и точно разлил шампанское по фужерам. Всего-то оказалось на каждого по неполному фужеру. Эдуард и Миша выпили все сразу, Олег — половину, а Таня, как ей и полагается, только пригубила. Кянукук тоже чуть-чуть пригубил.

Миша и Эдуард были сегодня в смешливом настроении, они вышучивали танцующих, Олег тоже снисходительно усмехался. Кянукук хихикал за компанию, только Таня смотрела в одну точку, на черно-голубого контрабасиста, на его летающие вверх-вниз по струнам проворные пальцы и каменное лицо. В самом деле, ведь Валька может отправиться на Камчатку, и тогда сколько еще времени она не увидит его?

Подсел автор, с печалью стал смотреть на смеющихся друзей. Когда они замолчали, он показал им указательный палец, чем вызвал вспышку уже совершенно нервного смеха.

— Вы что, на мели, что ли, ребята? — спросил он.

— Смотри-ка, что значит писатель! — воскликнул Олег. — Психолог!

— Инженер человеческих душ! — бабахнул Миша.

Эдуард захохотал.

— Не вздумайте им одалживать, — сказала Таня автору. — Это бессмысленно.

— Я и не думаю.

— А мы не нуждаемся. — Олег подмигнул товарищам, и они засмеялись.

— Сегодня нас полковник угощает, — Эдуард хлопнул по плечу Кянукука. — Верно, старик, а? Угощаешь друзей?

— Коньяк для всех! — крикнул Кянукук официанту.

Троица прыснула.

— А завтра? — спросила Таня.

— А завтра придет генерал, — быстро сказал Миша.

— А потом адмирал, — догадался Эдуард.

Тут уж началось такое веселье, что стулья пошли трещать.

— Хватит дурачиться, ребята, — сказал Олег. — Таня, не волнуйся, завтра у нас будут деньги.

— А я волнуюсь, — встрепенулась Таня, она словно обрадовалась возможности поязвить. — Я так волнуюсь, вы даже себе не представляете. Я ужасно волнуюсь, что будет с вами, бедные крошки. Пропадете ведь вы, малыши, одни в незнакомом городе. Ах, я так волнуюсь за вас...

«Ишь ты, заговорила голосом своего муженька», — подумал Олег.

Он вспомнил о Марвиче, о победе над ним, и волнующий медный голос победы запел в нем, заглушая мелкое раздражение, и обиду, и неловкость.

К столу подошел физик. С полминуты он постоял за спиной у веселящегося Эдуарда, покачиваясь с пятки на носок и разглядывая всех поочередно, словно в первый раз увидел.

— Я попрощаться, — сказал он Тане. — Пошел дождь, и я уезжаю.

— Да что вы, Борис! — воскликнула Таня с досадой.

— Пошел дождь, и я уезжаю, — повторил физик. — Как и говорил. До свидания.

— А ты куда сейчас? — спросил автор.

— Сначала в Москву, а потом в свой ящик.

— В какой еще ящик? — растерянно спросила Таня.

— Разумеется, в почтовый ящик, — поклонился физик.

Он попрощался со всеми за руку. Тане поцеловал руку, а Кянукука потрепал по щеке.

— Подожди, — сказал автор, — я с тобой поеду.

Автор вскочил и тоже стал жать всем руку, а Таню поцеловал.

— По рюмочке коньячка на дорожку, мальчики! — воскликнул Кянукук.

Он ничему не удивлялся. Наливая коньяк, он только думал: «Дождь пошел, а где мои штилеты за девять тридцать?»

Подняли рюмки.

— Счастливо, друзья, — сказал Олег. — Хорошо мы здесь с вами провели время.

— Главное, без ссор, — добавил Эдуард.

— Тихо-мирно, как в лучших домах Филадельфии, — подхватил Миша.

— Прекрасная у вас память, Миша, — сказал физик, выпил и пошел к выходу.

— Тебе нужны деньги? — шепнул автор на ухо Кянукуку.

— Нет. Лишние деньги только мешают.

— Ну, пока, — сказал автор и поспешил вслед за физиком.

Таня видела, как они вдвоем пробрались через толпу и вышли в вестибюль гостиницы, как физик сел там на свой чемодан и раскрыл газету, а автор побежал наверх, по всей видимости, собирать вещи.

За столом воцарилось молчание. Почему-то все были несколько обескуражены неожиданным отъездом этих двух людей. Дверь в вестибюль долго оставалась открытой, и долго можно было видеть спокойную фигуру физика, сидящего на чемодане и читающего газету.

Вдруг на середине фразы оркестр замолчал. Толпа танцующих прекратила свою работу и выжидательно замерла. В дверях возникло какое-то движение, кто-то вбежал в зал, высоким голосом циркача крикнул: «О-ле, синьоре!», и все увидели Марио Чинечетти.

Итальянец, подняв над головой руки, бежал сквозь расступившуюся толпу к эстраде. Глаза девушек сияли. Итальянец был как с картинки: жесткие черные волосы, расчесанные на пробор, полосатый пиджак с большими блестящими пуговицами, ослепительная белая сорочка, черный галстук, серые брючки — маленький, верткий, очень ладный, стопроцентный итальянец бежал сквозь толпу. Приветствовал всех. Сиял. Был полон энергии. Прыгнул на эстраду и подлетел к микрофону.

— Буона сера, грацио, синьорес! — крикнул он и столь же легко и свободно перешел на русский язык: — Дорогие друзья, мы приветствуем вас в нашем ресторане! Здесь вы можете получить изысканные блюда, гордость нашей кухни, котлеты «Девалляй», котлеты «Ле Спутник», а также фирменное блюдо — салат «Бристоль» с анчоусами! Чувствуйте

себя как дома, но... — Он подмигнул, скорчил очень странную гримасу и закончил с неожиданно сильным иностранным акцентом: — Но не забывайте, что вы в гостях!

Грянули «черно-голубые», и Марио Чинечетти исполнил перед микрофоном несколько па твиста. «Дорогие друзья», каждый из которых по меньшей мере раз в неделю посещал этот ресторан на протяжении многих лет, замерли с открытыми ртами — такого они еще не видели.

Итальянец обхватил микрофон руками и таинственно зашептал:

— А теперь Марио Чинечетти позабавит вас несколькими песнями из своей интернациональной программы.

Он выпрямился и закричал:

— «Очи черные» так, как их исполняет великий Армстронг, мой друг!

Он запел очень громко и хрипло, подражая своему великому другу. Потом спел твист, потом еще что-то. И все время танцевал вокруг микрофона, он был очень подвижен: сказывались хорошая тренировка и темперамент, свойственный жителям Апеннинского полуострова.

В зале царил неслыханный энтузиазм, девушки благодарили небо, пославшее им Марио Чинечетти.

— Вот это артист! — сказал Олег, улыбаясь.

— Я же говорил — новая волна! — изнемогая, стонал Кянукук.

— Где-то я видел этого певца, — сумрачно произнес Эдуард.

— Не в ростовском ли ДОПре? — тут же «припомнил» Миша.

— Надо поразузнать о нем. — Эдуард многозначительно кашлянул и пригласил Таню танцевать.

Они «твистовали», стоя друг против друга. Таню смешила мрачная физиономия Эдуарда. Ее все начинало смешить в этот вечер: Марио, прыгающий на эстраде, все ее друзья, публика, провинциальный модерн этого зала, настороженное лицо администратора.

А администратор уже «сделал стойку». Он высмотрел несколько жертв в толпе танцующих, но больше всех его волновала белобрысая парочка молокососов — худенький паренек в яркой штапельной рубашке и его девушка с красными пятнышками на лбу, с натянутой жалкой улыбочкой, причесанная под Бабетту.

«Вшивка, — зло шептал он про себя. — Вот как эти прически называются — «вшивка».

Одернув пиджак, он строго подошел к этой паре и произнес:

— Прошу вас выйти из зала.

— Почему? — удивился белобрысый.

— За что? — сразу суксилась «бабетта».

— Подвергаетесь штрафу за извращение рисунка танца, — сказал администратор.

— Разве мы извращаем? — дрожа, спросил паренек.

— Ведь все же извращают, — всхлипнула «бабетта».

— Никто не извращает, кроме вас, — сказал администратор и нажал парню на плечо. — Давай на выход.

Зал «извращал рисунок танца» целиком и полностью. Мало кто обратил внимание на эту сцену:

все уже привыкли к проделкам администратора, никогда нельзя было сказать, на кого падет его выбор.

Паренек попытался вырваться. Тогда администратор четким профессиональным движением завернул ему руки за спину и повел к дверям. «Бабетта», плача, поплелась за ними. Администратор шел и наблюдал себя в зеркало, багрового, со сжатыми губами, согнутого семенящего паренька и «бабетту» со вспухшим носом. «Блохастик, — подумал он уже ласково. — Вот ведь попался блохастик».

«Подвергнув штрафу» и выдав квитанцию, он отпустил их в зал. «Бабетта» сразу повеселела, увидев, что у дружка ее хватает денег не только на угощение, но и на штраф.

— Поменьше попойкой надо крутить, — отечески сказал ей вслед администратор и тут заметил мужественную борьбу швейцара Изотова с толпой «гопников» разного рода, пытающихся проникнуть в ресторан. Он ринулся к дверям.

— Пусти-ка, Изотов! — крикнул он, приоткрыл дверь и за шиворот втащил внутрь первого «гопника», полного человека в очках и сером свитере.

Человек этот отбивался, пытался показать какое-то удостоверение, но администратор взял его железной рукой за горло, потрянул...

— Я доцент, вы не смеете! — воскликнул подвыпивший «гопник».

...завернул ему руку за спину и медленными шагами через весь вестибюль провел доцента в свой кабинет.

— Не в том беда, что вы доцент, а в том, что одеты не по форме, — строго сказал он «гопнику», который, наконец, понял бессмысленность борьбы и

только крутил в толстых пальцах свое синенькое удостоверение.

— Штраф придется заплатить, а в ресторан надо являться при галстучке, как положено.

Получив деньги, он добродушно обнял доцента за плечи и вывел его в вестибюль.

— Пропусти его, Изотов, на улицу, — сказал он швейцару.

Из ресторана в этот момент вышла и направилась к лифту артистка в окружении своих трех парней и Митрохина Виктора, по кличке Кянукук, к которому стоит еще присмотреться. Администратор улыбнулся Тане.

— Как время провели?

Таня опешила.

— Спасибо, — пробормотала она испуганно.

— А вы как? — спросил администратора Миша.

— Хлопот полон рот, — снова улыбнувшись Тане, сказал администратор.

Он долго смотрел вслед артистке, наблюдал ее плечи и высокие сильные ноги.

«Мало ли что может быть, — подумал он. — Мало ли что бывает с администраторами».

Ему нравилась его работа, в которой чудилось ему сочетание дипломатической тонкости, тонкого расчета и внезапного оперативного удара. В жизни своей он редко был удовлетворен, порой опускался до совсем незначительного состояния, но здесь, в этом шестиэтажном доме с мягкими коврами, большими окнами, с музыкантами, швейцарами и целым взводом официантов, он понял, что, наконец, добился своего.

Кянукук в этот вечер чувствовал себя со всеми на

равных. В конце концов ведь это он заказывал и за всех расплачивался сам.

«Ладно, что-нибудь придумаем с этими штиблетами за девять тридцать», — думал он.

Он танцевал с Таней в ее номере, лихо отплясывали чарльстон, только звенел графин на столе да хлопали ребятишки. И ребятишки сегодня вели себя с ним по-свойски, конечно, не из-за денег: мало ли они его угощали, денег у них вообще куры не клюют, — просто, видно, поняли, что он тоже не лаптем щи хлебает, разбирается в джазе и танцует здорово, просто стали относиться к нему, как к товарищу по институту, вместе веселились — свой парень Витька Кянукук...

Олег крутил свой транзистор и ловил для Тани и Кянукука один танец за другим. Он сидел на диване, поджав ноги, и смотрел на танцующих. Таня старалась не глядеть на него, на его улыбку, она чувствовала, что сегодня он уж не отступится от нее. Она крутила коленками, с улыбкой смотрела на веселящегося Кянукука, иногда она вся сжималась от страха, но порой ей становилось на все наплевать? «Ну и пусть, — думала она, — кому какое дело, ну и пусть...»

Эдуард и Миша бросили несколько раз кости. Эдуард выиграл рубль пятнадцать. Потом Олег им кивнул и показал глазами на дверь. Они встали и тихо удалились. Миша от дверей сделал Олегу жест, означавший: «Решительнее, Олечка! Кончай с этим пижонством раз и навсегда!»

В коридоре он сказал Эдуарду:

— Вот пижон Олечка. Больше месяца с ней возитя. Нашел себе кадр.

— Артистка, — пробурчал Эдуард и вдруг схватил Мишу за лацкан. — А ты свинья, Михаил. Мне Нонка все рассказала. Так друзья не поступают.

— Твоя Нонка дрянь, — лениво промямлил Миша.

— Согласен, но зачем ты...

Пребираясь, приятели стали спускаться на свой этаж. У дверей номера Миша остановился и сказал Эдуарду:

— Ладно, не нервничай. Завтра Олег получит перевод, и будем в темпе закружаться. Надоело.

— Да уж действительно, полный кризис жанра. У меня такое правило — раз чувствую, что наступает кризис жанра, значит надо по домам.

— Золотое правило, — похвалил Миша, и они пошли спать.

— Покрути, дружище, еще! — крикнул Кянукук Олегу. — Поймай-ка твист! Мы с Танюшкой только разошлись.

Олег встал с дивана и сказал ему мягко:

— Кяну, дружище, можно тебя на минутку? — и пошел к двери.

Кянукук последовал за ним, а Таня осталась стоять посреди комнаты. Она стояла с повисшими, как плети, руками и смотрела им вслед.

— Пора тебе домой, Кяну, — сказал Олег в коридоре и взял Виктора за запястье крепкой дружеской хваткой.

— Рано еще, время детское, — сказал Кянукук, холодея и понимая, наконец, что к чему.

— Ты ведь мужчина, Кяну, — улыбнулся Олег, крепче сжимая запястье, — не мне тебе объяснять, в чем дело. Ты ведь мужчина, и ты мой друг. Верно?

— Да, да... — пробормотал Кянукук. — Конечно, друг. Кто же еще? Ладно, Олежка, — он освободил свою руку и хлопнул Олега по плечу, — пойду к Лилиан, пойду мириться.

— Ну, иди, иди, — улыбнулся Олег. — До завтра.

Кянукук пошел к лестнице, и когда оглянулся, Олега в коридоре уже не было.

Он спускался по лестнице и старался ни о чем не думать. «Милый вечерок мы провели, — бубнил он, — милый вечерок».

В вестибюле было пусто и полутемно. Швейцар Изотов еще переругивался через стекло с двумя морячками, но в ресторане все уже было кончено. В открытую дверь было видно, как официанты стаскивают со стола скатерти и ставят на столы стулья ножками вверх.

Кянукук все же заглянул в ресторан: очень уж не хотелось ему выскакать под дождь и трусить через весь город к спортзалу. Возле двери в углу сидела за столом официантка Нина. Перед ней стояло большое блюдо, она что-то ела из него, рассеянно ковырялась вилочкой.

— Что это вы едите, Нина, такое вкусное? — спросил Кянукук.

— Миноги, — ответила она. — Хотите? Присаживайтесь за компанию.

С трудом разгибая спину, она встала, смахнула салфеткой со стола соринки и положила перед Кянукуком вилку слева, ножик справа. Потом опять села. Они стали вместе есть миног из одного блюда. Кянукук вытаскивал их из жирного желтого соуса и нес ко рту, подставляя снизу кусочек хлеба, чтобы

не капало на скатерть. Иногда он взглядывал на Нину и благодарно ловил ее усталый и пустой взгляд. Его охватило ощущение покоя и уюта. Деля эту ночную внеурочную трапезу с усталой официанткой, он чувствовал себя в безопасности, словно пришел в гости к старшей своей и умной сестре.

— Все так считают, что я мужняя жена, а я никто, — вздохнув, сказала Нина и вытерла салфеткой рот, смазав помаду и желтый соус.

— Почему же это так, Нина? — проявил участие Виктор.

— А потому, что несчастная я, — равнодушно пояснила Нина, подмазывая губки. — Мужчина мой четвертый год в сельдяную экспедицию ходит к Фарерским островам, а придет с рейсу, переспит пару ночей, шашь — и на курорт укатывает, на южный берег Крыма. Плакали и денежки и любовь.

Она положила зеркальце и помаду в сумочку, взбила крашенные локоны, выпрямилась и серьезно посмотрела на Кянукука.

— Вот так получается, молодой человек.

— Не расстраивайтесь, Нина, не тратьте ваши нервы, — посоветовал он.

Официантка улыбнулась ему. Он улыбнулся ей.

В полутемный ресторан с бумагой в руках вошел администратор. Цепким взглядом он окинул Нину и Кянукука и остановился возле них.

— Опять на эту компанию с маслозавода пришлось акт составлять, — сказал он, пряча бумагу в карман. — Оскорбление словом при исполнении служебных обязанностей. Вы идете домой, Баранова?

— Дождик... — растерянно пробормотала официантка.

— Поделюсь плащом, — сказал администратор и вышел из зала.

— Заходите, молодой человек, — сказала Нина. — Вы хороший гость, вежливый и малопьющий. Они обменялись рукопожатием, и Нина вышла вслед за администратором.

Кянукук выловил последнюю миногу, сунул в карман три ломтя хлеба на завтрак и вышел из гостиницы, отпустив Изотову на прощание девятнадцать копеек медью.

Дождь, как видно, зарядил надолго, хорошо, если только до утра. Вдоль тротуаров в ручьях, светясь под фонарями, лопаясь и вновь возникая, неслись пузыри. Каменная спина площади лоснилась. В средневековых улочках гремела по стокам вода.

«Плохо было стражникам. Доспехи у них ржавели под дождем, — думал Кянукук. — Мои доспехи не поржавеют, чище только будут».

Он шел решительным шагом, но почему-то свернул не в ту улицу, потом метнулся в другую. Не по своей воле, а словно по прихоти дождя он делал круги в пустом и странном городе с чуждым его сердцу рельефом крыш. Дождь крепко взял его в свои тугие, слабо звенящие сети.

«Может быть, уехать с Марвичем на Камчатку? Устроюсь там радистом, там ведь нужны радисты. А может быть, и радиокорреспондентом там устроюсь. Буду интервьюировать этих славных камчатских ребят. И никто не будет звать меня Кянукук, а дадут другое прозвище — скажем, Муссон. Витька Муссон, друг всего побережья. С Марвичем не пропадешь. Поехать, что ли?»

Кубинская рубашка и китайские штаны прилип-

ли к телу, как вторая кожа. Кянукука заносило все дальше и дальше в глубь Старого города.

Под прозрачным плащом двигались администратор и официантка Нина. Дождь хлестал по плащу, образуя в его складках маленькие лужицы и ручейки. Плащ прикрывал только плечи и часть спины, брюки же администратора быстро намокли и тяжело волочились вслед за ним. Правой рукой он ощущал теплую и мягкую спину официантки и слегка дурел. Он говорил коротко, отрывисто, пытаясь вызвать необходимое сочувствие.

— Работа тяжелая. Ответственная. А до пенсии еще восемь лет...

Нина сладко зевала.

— Восемь только? Вроде бы больше должно быть. Вы ведь еще молодые.

— На севере служил, — рубил администратор. — Заполярье, год за два.

— Кому год за два, — говорила, зевая, Нина, — а кому зарботки повышенные... Мой мужчина на седке фантастические суммы зарабатывает.

— Вы, Баранова, в официальном браке состоите?

— В официальном, да толку мало...

— Вам нужна поддержка, Баранова, мы это знаем... Если не ошибаюсь, вот ваш дом.

Они остановились.

— Правильно, — зевнула опять Нина. — До свидания.

— То есть как это до свидания? — опешил администратор.

— Вы уж простите, дочура там у меня спит.

— Насколько я знаю, у вас две комнаты.

— Две, да смежные, — вяло проговорила Нина, выскочила из-под плаща и тяжело побежала к дому.

Администратор смотрел ей вслед, думал побежать за ней, как в былые годы бегал за женщинами на севере и на юге, но только кашлянул растерянно.

— Странная постановка вопроса, — пробормотал он и надел плащ.

«А что сейчас делает Марвич? — думал Кянукук. — Только не спит, конечно. Пишет. Он здорово пишет. А может, шатается где-нибудь с этим Сережей. Кто такой этот Сережа? Тоже, наверное, литератор. Ему сейчас хорошо, Марвичу, он ничего не знает про гостиницу, про Таню и про Олега. Таня у него давно в прошлом, а про Олега он забыл, забыл и про Мишу и про Эдика. Больно они ему нужны».

Над городом, над шпилем церкви Святого Яна, над мрачным заливом, под лохматыми тучами пролетел пассажирский «ИЛ-14». Топовые огни на его крыльях были видны отчетливо, и слабо светилось несколько желтых огоньков по борту. Это был ночной самолет на Москву.

«Полетели наши ребяташки, — подумал Кянукук. — Откинули спинки кресел и сидят рядом, болтают об антимирах или читают стихи. Наверное, они подружатся друг с другом. Возможно, подружатся на всю жизнь».

Он увидел свое отражение в витрине ателье мод. Отчетливое изображение мокрого до нитки мальчишки-переростка. Отражение двигалось перед ним, оно просвечивало, и сквозь него в сухом и теплом сумраке ателье виднелись серые манекены женских

фигур. Манекены без голов и без рук, объемистые бюсты и зады на железных палках. Серые фантомы, беспорядочно расставленные, набитые опилками чучела женских торсов.

Кянукук отвернулся. Снизу на холм тащилось такси с зеленым огоньком. Оно проехало мимо. За рулем сидел молодой, но лысый шофер с маленькими усиками. Кянукук перебежал через улицу и заскокчил в телефонную будку.

Он очень волновался, набирая номер Лилиан. Пока в трубке звучали длинные гудки, он представ лял, как звонок разбудил Лилиан, как она отбросила жаркое одеяло и, не найдя ночных туфель, побежала босая по паркету своей большой квартиры. Она предчувствует, что это его звонок.

— Алло, — сказала Лилиан.

— Лилиан, это вы? — прошептал он.

— Виктор! — воскликнула она.

— Я хотел только пожелать вам спокойной ночи.

— И больше ничего? — У нее сорвался голос.

— Спокойной ночи, Лилиан.

Он повесил трубку. Милый образ этой женщины возник перед ним: ночная рубашка, растрепанные волосы, морщинки в углах глаз... Напрасно он с ней жесток. Ведь она сейчас мучается, даже не знает, куда ему позвонить.

Кянукук поднял воротник рубашки, спустил рукава — манжеты оказались теплыми и сухими. Он вышел из телефонной будки и решительно зашагал вперед и вниз.

3. Когда Олег вернулся из коридора в номер, Таня сидела на подоконнике и смотрела

в окно. Окно было открыто, за Таниной фигурой струился розовый дождь — он был подсвечен неоновой вывеской гостиницы. Таня взглянула на Олега и снова стала смотреть в окно.

Он включил транзистор. Какая-то скандинавская станция передавала танцевальную музыку. Он снял пиджак и бросил его на диван.

— А не уехать ли мне тоже в Москву на эти десять дней? — проговорила Таня.

— Зачем? — спросил он.

— По маме соскучилась.

«Вот черт», — подумал Олег и встал с дивана.

Он что-то очень устал за этот день. С утра они с Мишей поехали на загородную спортбазу к знакомым ребятам и там осваивали новый вид спорта — картинг. Гоняли на этих маленьких ревущих тележках по гаревой дорожке взад и вперед, а управление картом — вещь не такая уж легкая. Сейчас бы принять ванну и лечь спать, но он должен... Надо кончать эту комедию... Ведь чуть ли не стал пошмищем у ребят.

«Как раз комедия только и начнется с этой ночи, — тревожно предположил он, глядя на Танину шею и подбородок и холодея от каких-то чувств, похожих на жалость, на любовь. — Я могу попасть в настоящий капкан. Надо взять себя в руки».

Он шагнул к ней, и она оглянулась.

— Фу, какой ты мощный, — сказала она. — Даже неприлично.

Он засмеялся и еще шире развернул плечи.

— Я занимаюсь туризмом. Еще три года назад я был хилым сморчком.

— Что ты говоришь!

Она спрыгнула с подоконника и с интересом уставилась на Олега.

— А зачем это тебе?

— Разве не красиво? — опять засмеялся он и принял позу «сверхчеловека», сделал свирепое лицо.

Таня обошла вокруг него, как вокруг экспоната, потом села на диван и положила ногу на ногу.

— Правда, Олег, — проговорила она. — Я вот иногда смотрю на тебя — ты такой спортсмен, любой вид спорта тебе по плечу, но мне кажется, что ты занимаешься спортом не ради спорта, а ради чего-то другого...

— Конечно, не ради спорта, — сказал он. — Я должен быть сильным, чтобы меня никто пальцем не смел тронуть. Чтобы любому дать отпор, понимаешь?

— И даешь отпор?

— Бывает, — усмехнулся он и подумал: «Знала бы она».

— Понятно, — кивнула она и мечтательно стала смотреть в потолок. — Но ведь не только для отпора, правда? — продолжала она. — Еще и для того, чтобы самому напирать, да?

— Когда это нужно, — подтвердил он. — Понимаешь, мы ведь молоды, а в молодости очень часто решает дело вот эта штука.

Он показал ей сжатый кулак.

— А потом что? — спросила она, глядя на кулак.

— Когда потом?

— Не в молодости.

— Потом — иначе.

Он разжал кулак и нервно, быстро прошелся по ковру.

— Хватит философствовать. Скажи, я тебе нравлюсь?

— Очень, — искренне сказала она.

— Ты издеваешься надо мной?

— Нет! — воскликнула она.

Он бросился на нее, схватил за плечи, стал целовать, крутил ее, вертел в своих руках, как куклу. Таня чуть было не потеряла сознания, через несколько секунд поняла, в каких она умелых, искусных руках, и вдруг вырвалась, вскочила и отбежала в дальний угол комнаты, к окну, к телефону.

— Ты что, с ума сошла? — крикнул Олег с дивана. — Иди сюда, — прохрипел он. — Милая...

— Я не могу, Олежка... не могу...

— Почему? Что за вздор?

— Если хочешь знать... Хочешь честно? Я люблю одного человека... Любила совсем недавно.

— Марвича, что ли? — зло засмеялся Олег. — Муженька своего?

— Откуда ты знаешь? — воскликнула она.

— Знаю.

Он встал, застегнул рубашку, поправил всю свою одежду, с вызовом посмотрел на нее и надел пиджак. Она сидела на подоконнике и смотрела на него, как жалкий зверек. Ему захотелось погладить ее по голове.

— Что же, ты только его любила, что ли? — резко спросил он. — Или уж такая великая любовь? Шекспировские страсти, да?

— Нет, не шекспировские, — тихо сказала она. — Но только его, больше никого.

— Брось!

— Можешь не верить.

— Перестань трепаться! — возмущенно проговорил Олег.

— Убирайся! — вдруг гневно крикнула она.

— Таня...

— Уходи сейчас же! Уходи, а то я вылезу на карниз!

Она вскочила на подоконник и взялась рукой за раму.

Он повернулся и вышел в коридор. Постоял у дверей, услышал легкий стук — Таня прыгнула на пол. Взялся было за ручку двери, но подумал в этот момент: «Анекдот. Не девка, а ходячий анекдот».

Он медленно побрел по полутемному коридору, разыскивая по всем карманам сигареты, не нашел их, спустился по лестнице на свой этаж и тихо вошел в номер Миши и Эдуарда.

Ребята спали, освещенные светом уличных фонарей. Эдуард шевелил губами, Миша сопел. Амуниция их была раскидана по номеру в полнейшем беспорядке.

— Олешка, ты? — пробормотал Эдуард.

— Тише, я за сигаретами, — сказал он.

— Как у тебя? Порядок?

— А ты как думал?

— Молодец, — буркнул Эдуард и перевернулся на другой бок.

Олег нашел сигареты и закурил.

— Ну и как? — осведомился Миша, он как будто и не спал.

— Пир, — сказал Олег, выходя. — Пир богов.

Он вошел в свой отдельный маленький номер окнами во двор, лег, не раздеваясь, на кровать. Курил и смотрел на черепичную крышу соседнего дома,

где резко поворачивался маленький флюгер в виде варяжской ладьи.

«Ловушка захлопнулась», — подумал он, снял трубку и попросил номер Тани.

— Тебе смешно?

Таня не ответила.

4. Освещение менялось каждую минуту. Длинный сплошной ряд средневековых домов на улице Победы, реставрированных недавно и покрашенных в розовый, голубой, терракотовый, зеленый цвет, то заливался веселым весенним солнечным светом, то омрачался внезапно и стремительно налетающими тучами. В городе свирепствовал океанский ветер, прохожие сгибались на перекрестках, женщины хлопали руками по юбкам. Зонты вертелись в руках, рвались в воздух, словно пойманные грачи. Звенели стекла. Лопнула и осыпалась большая витрина магазина «Динамо». На углах завихрялись окурки, обертки, газеты, катились банки, расплескивалось молоко, ерошилась шерсть собак, гудели бочки. Ломались флюгеры, ломались заборы, падали яблоки, пьяницы чокались в подвалах, старушки крестились, газеты вышли вовремя, доставка продовольствия не прекращалась, но сильно раскачало суда на внешнем рейде, в порту был аврал: перевернулась старая баржа без груза и без людей — жертв вообще не было, все было в порядке, как говорили оптимисты, и, как всегда, они были правы.

Ветер подхлестывал Кянукука под пиджачок. Он убегал от ветра, смешно выкидывал вперед ноги, прятался за углами, перебегал площадь, шустро

мчался по гудящим и качающимся скверам, ему казалось, что ветер подобен рыжему, зло забавляющему псу, баловню своих могучих хозяев, что так или иначе это баловство добром не кончится — вон уже качаются башни и шпили города...

Наконец Кянукук нашел более или менее спокойное место в скверике за углом бывшего доминиканского монастыря, где нынче помещался цех художественного оформления тканей.

Чья-то добрая рука насыпала перед скамьей крошки хлеба и зерно. Воробьи прыгали по асфальту, как мячики, среди них, переваливаясь с ноги на ногу, ходили полные голуби.

Кянукук прикрылся пиджачком, вытянул ноги. Птицы копошились у него в ногах, устраивали мелкие потасовки.

«Сижу, как добрый волшебник, — невесело посмеялся он. — Как Эдвард Григ».

Он сидел, как сказочник Андерсен или просто как большой костлявый скандинавский старик, корабельных дел мастер.

«Почему мне не сто пять лет? Почему я такой смешной, не величественный, не старый, а смешной? Почему у меня не то что десяти, а и одного-то внука нет? Почему у меня не все уже позади?»

Над городом летали одинокие крупные капли дождя. Ветер гнал, гнал тучи. Солнечные лучи, словно метла, мели по аллеям, по взъерошенным деревьям.

В конце аллеи появился высокий художник, блондин. Балтийская его шевелюра была сбита вбок и недвижно летела в воздухе, словно у памятника. Черный плащ трепетал вокруг худого тела. Худож-



ник шел спокойно, у него была легкая, но крепкая походка.

— Как ваши дела, Виктор? — спросил он, отчетливо выговаривая русские слова.

Они познакомились недели две назад на выставке эстампов.

Кянукук посмотрел на него снизу вверх. Во всем облике художника было что-то от памятника. Кянукук не встал, не вскочил, не завел с ним разговор о живописи, о графике, о ваянии. Он сплюнул в сторону и сказал:

— Кончилась жизнь художника-передвижника.

— В каком смысле? — спросил художник.

— Поступаю на постоянную работу.

— Куда?

— В трест, — уклончиво ответил Кянукук.

— Кем же? На какую должность?

— Коммерческим директором.

Он не сдвинулся с места и вяло покивал в ответ на удивление художника: Да, да, директором. Коммерческим директором.

Старинные часы в антикварном магазине. Сколько им лет?

Никто точно не знает. Это середина прошлого века, как говорит старичок. Цена триста тридцать рублей. Они в рост человека, в футляре красного дерева, но с дефектом: царапины. Кто сделал эти царапины? Может, киски баловались? Вот обменяюсь на Минск, заведу себе киску. Стрелки, витые, как старые алебарды, и римские цифры. Рим. А за стеклом медный маятник. Он прост и кругл, он плоский, похожий на диск. Качается. Очень точный ход. А ко-

му это нужно? Вот звон внушительный, как с колокольни. Вот ключ, он медный, тяжелый, хорошо лежит на ладони.

Он толкнул дверь закусочной-автомата, в тамбуре отогнул воротник, расчесал мокрые волосы на пробор и вошел в зал. В зале былолюдно, к автомату с пивом и к окошку раздачи тянулись очереди мокрых мужчин. Пахло тушеной капустой и мокрыми тряпками. Старенькая уборщица в синем халате бродила среди мужчин и посыпала мокрый пол опилками. С хрустом вонзались вилки в толстые раздувшиеся от влаги сардельки. Мужчины пили пиво. Некоторые бросали соль прямо в кружку, другие располагали ее на кружке в виде ободка. Дождь стекал по темным окнам, а здесь был электрический свет, пар из окошка раздачи, таинственные табло автоматов: «Пиво», «Соки», «Кофе», «Бутерброды».

Здесь он встретил матроса, с которым вместе грузил цемент на товарной станции.

— Ты еще ходишь? — спросил матрос.

— Хожу, — сказал Виктор. — Привык, знаешь. Таскаю теперь эти мешки, как пуховые подушечки.

— Жить есть где? — спросил матрос.

— Вот с этим плохо, — ответил Виктор.

Нынче утром новый сторож спортзала приказал ему забирать свое барахлишко. Педантом оказался новый сторож, унылым педантом.

Однажды, он видел, на главной улице загорелась мусорная урна. Сначала из нее пошел густой белый дым, а потом появились язычки пламени. Горел мусор — это собирательное понятие, состоящее из окур-

ков, пустых сигаретных пачек, оберток мороженого и конфет, порванных записок, испачканных носовых платков и драных носков, которые запихивались туда тайком, а также из многого другого. Ребенок — а их собралось немало вокруг горячей урны — толкнул ее ногой, и урна, выполненная из цемента в виде цветочной вазы, упала набок. Она продолжала гореть, дымиться, да еще и зашипела, видимо стремясь к совершенству бомбы, но дети встали в кружок, помогли и загасили ее. На следующий день она стояла на прежнем месте. Прямо хоть цветы в нее сажай.

Аптека находилась в большом сером здании. Когда стоишь на тротуаре и смотришь вверх на эти восемь этажей, кажется, что находишься в огромном городе. На самом же деле здание это было единственным в своем роде.

В этой аптеке, как и в любой другой, были вертящиеся восьмигранные шкафчики с маленькими ящичками. Их приводили во вращение строгие девушки в белых крахмальных чепцах. Прямо возле окна серебряная грохочущая машина «Националь» выбивала чеки. В этой аптеке, как видно, были лекарства от всех болезней, персонал готов был прийти на помощь любому: унять сердечную астму, понизить кровяное давление, согреть, дать снотворное, напоить чаем с сушеной малиной.

В окне аптеки он увидел, что за его спиной прошла Лилиан. Она была в синем плаще и косынке из той же материи, что и плащ. В руках — большая хозяйственная сумка с «молниями» и остренький зонтик. Он заметил, что лицо у нее сосредоточенное и немного усталое. Лилиан не увидела его и вошла

в аптеку. Она постояла немного возле рецептурного отдела и направилась в кассе. И тут увидела за окном Виктора.

Она вспыхнула и закрыла ладонью нижнюю часть лица.

Забыла, конечно, про все свои чеки и про лекарства и выбежала на улицу.

— Виктор, вы больны? — воскликнула она. — Как вы похудели! Вам плохо? Пойдемте же, пойдемте отсюда...

Она взяла его под руку, прижалась плечом к его плечу и повела куда-то, заглядывая ежесекундно ему в лицо, улыбаясь, смахивая слезы.

— Почему я раньше вас не встретила, ведь город такой маленький...

Они сидели в кафе. Лилиан, как светская дама, хранила видимое спокойствие, слова же ее были полны горечи и тоски.

— Виктор, вы ввергаете меня в пучину страданий... Вы не бриты, у вас, простите, пиджак лопнул под мышкой...

Над ними, расставив могучие ноги, стоял скрипач. Глаза его были закрыты, мясистый подбородок лежал на скрипке. Скрипка нежно пела, увлекая Лилиан и Виктора куда-то вдаль, вселяя в их сердца гармонию и покой.

А вечером они танцевали. Виктор был в полном параде: черный териленовый костюм, на поясе висит брелок, а запястье охватывает браслет, и галстук в тон. Лилиан была в белом платье.

— Виктор, я пропишу вас у себя, моя площадь позволяет это сделать. Виктор, у меня знакомство в радиокомитете...

Пели скрипки, дымился горячий кофе, мерно и уютно били часы...

Рюмка ликера подействовала на Лириан. Она взглянула на скрипача, на Виктора, на моряка, который шел мимо и, кажется, был похож на ее покойного мужа, и, уже не стыдясь своих многочисленных знакомых, поднесла платочек к глазам.

— Ах, эти мужчины, бродяги, фантазеры... Виктор, только не исчезайте больше никуда. Ведь я без вас не могу...

Вот такая штука — силомер. Берешь в руки деревянную кувалду, она довольно тяжела, размахиваешься и бьешь по металлической пластинке. Кувалда зеленого цвета, надо же! Красная скобка летит вверх по шкале, долетает до самого верха — хлопок! — и выскакивает то ли чертик, то ли гном в полосатом колпаке и с красными большими ушами. То ли он кукарекает, то ли просто пищит, но это тебе награда за силу, за удачный удар.

Это в лучшем случае. А в худшем — смех вокруг и позор.

На этом заброшенном пирсе росла трава. Она лезла сквозь трещины бетона, а булыжника в густых зарослях лопухов даже не было видно. У пирса борт к борту стояло несколько деревянных речных барж, маленький поселочек речников. На баржах жили шкиперы, матерые мужички, и их жены-матросы. Детишки же, которых было немало, естественно, не входили в штатное расписание. Кроме того, на баржах были козы и домашняя птица — куры и петухи.

Утром Кянукук просыпался от петушиного крика,

словно в деревне. Сквозь сон он улыбался, смотрел на храпящего соседа, на стол с остатками ужина, на серый глаз иллюминатора; ощущая мерную нежную качку, думал: «Петух на пне, петухи на воде». Потом переворачивался на другой бок и снова засыпал до поздних петухов. Спать можно было сколько угодно.

Речники осели здесь еще в начале навигации. Тогда, пользуясь тихой погодой, буксиры привели сюда из устья Невы караван деревянных барж с углем. Потом все время метеосводки были беспокойные, залив шалил, и баржи прохлаждались в порту на отстое.

Речникам было здесь совсем неплохо. Жены-матросы ходили по магазинам, покупали вещи и даже мебель. Кое-кто завел себе на пирсе маленькие огородики, выворотил булыжник, взрыхлил землю и посадил репчатый лук и редис.

От баржи к барже тянулись доски-трапы, от рубки к рубке — веревки с бельем. Кричали дети, кудахтали куры, судачили хозяйки. Шла тихая деревенская жизнь. По вечерам на баржах играли радиоприемники и светились телевизоры.

От последней баржи мостик был перекинут на настоящий морской железный лихтер финской постройки. Лихтер нуждался в ремонте, а пока его приспособили вроде бы под общежитие для плавсостава. Здесь-то и жил Кянукук. Знакомец его, матрос, помог устроиться на лихтер сторожем, на оклад 35 рэ.

Была у Кянукука койка с одеялом и бельем, жилось привольно. Питали его речники: он был им полезен — чинил приемники и телевизоры, помогал по хозяйству, следил за детьми. По вечерам приходили жильцы, трое морячков-рыбачков, в том числе и его

знакомец. Они ждали прихода в порт рыболовецкой базы «Петропавловск», чтобы зачислиться в ее экипаж и вновь уйти в седой Атлантический океан.

Они приносили консервы «Ряпушка», плавленые сырки, пиво, иной раз и «чекушки». Парни были здоровые, дружные, любили поболтать о бабах, о рыбе, о распроклятом океане, без которого, оказывается, жизнь им была немила.

Кянукук пел им песни: «В Кейптаунском порту», «У юнги Биля стиснутые зубы», «К нам в гавань заходили корабли». Удивительное дело, Кянукук даже не поверил сначала в то, что они, моряки, не слышали до него этих морских песен. Он записывал им слова, каждому по экземпляру.

Как-то знакомец его сказал:

— Витька, вались с нами на «Петропавловск». Очень просто артельщиком можно оформить.

Двое других бурно поддержали его «рацпредложение».

С этого дня Кянукук стал ждать прихода плавбазы. Он вглядывался в белесый горизонт и ждал так, как ждут вообще прихода кораблей, примерно как Ассоль.

Однажды метрах в двадцати от лихтера прошел большой катер, на носу которого копошился пестрый народ и была установлена кинокамера. Там были все знакомые: режиссер Павлик, Кольчугин, второй оператор Рапирский, администратор Нема, Андрей Потанин, а на корме сидела Таня, лицо ее белело под капюшоном.

Кянукук спрятался за вентиляционную трубу, смотрел оттуда на Таню и думал:

«Подлая девчонка, спуталась с Олегом. Нет, Ва-

ля тебе этого не простит. И я бы тебе этого не простил, если бы был твоим мужем. Моряки такого не прощают. Моряки знают, как поступать с такими девчонками. Эх, женщины, женщины!.. «Вернулся Биль из Северной Канады»...»

На катере шла подготовительная возня, люди махали руками, что-то кричали.

«И главное, что обидно, ведь никто из них и не вспомнит обо мне, а ведь были друзьями. Ну ладно! Надо быть крепким, надо сжать челюсти, как сжимает их иногда Валя Марвич».

По верху трека медленно ехал велосипедист. Велосипед его еле-еле жужжал. Медленно-медленно поднимал велосипедист колени, медленно вращались спицы. Он двигался, как лунатик, на легких своих кругах, но зорко смотрел вниз.

И вдруг сорвался, не выдержал, бешено замелькали загорелые колени, а спицы слились в сплошные круги, словно пропеллеры вентиляторов. У велосипедиста оказались слабые нервы, но он все равно выиграл заезд. Ноги у него были сильные.

По городу медленно ехал грузовик с откинутыми бортами и с траурными полосами на них. На грузовике стоял гроб. В нем лежал Соломон Берович, чистильщик сапог. Перед грузовиком выступали пятеро юношей с медными трубами. За гробом, склонив головы, шли знакомые и родственники, и среди них сын Соломона Беровича, военный инженер, майор, прилетевший с Дальнего Востока.

Лицо Соломона Беровича было величественным, спокойным и в то же время грозным. Трудно было

представить, что в гробу лежит хилое, маленькое тело.

Кянукук встретил эту процессию неожиданно для себя. По детской привычке он скрестил два пальца, чтобы горе не задело, но, увидев, что везут его доброго знакомого, присоединился к процессии и проводил Соломона Беровича в последний путь.

Пели траурные трубы, бухал барабан. Майор поднимал лицо к небу, его очки блестели.

На площади перед крепостью, где больше всего любят гулять туристы, можно сфотографироваться. Даешь сорок копеек и встаешь перед коричневым ящиком на треноге. С объектива снимают черный колпачок — и готово, ты уже запечатлен. Карточки завтра, можно оставить адрес — пришлют. А если хорошо получишься, твою карточку в целях рекламы выставят на общий стенд, и ты окажешься в компании множества незнакомых людей, в основном моряков.

Художник прошел по боковой аллее. Летел его плащ, летели волосы, и только крепко была прижата к телу кожаная папка с бумагами.

Он вышел из сквера и пошел по голой улочке, по стертым плитам вдоль белой монастырской стены. Огромная сплошная стена, без единого окна; высокий художник казался маленьким под этой стеной — тонкая черная черточка.

Кянукук оглянулся, посмотрел, как идет художник, ему показалось, что художник не идет, не движется сам по себе, а просто каждое мгновение оказывается в другом месте.

Два голубя, трепеща крыльями, повисли над его коленями. Красные лапки их, сморщенные и согнутые, были неприятны. Они сели к нему на колени и вцепились лапками в ткань брюк.

Художник подошел к огромной дубовой двери и толкнул ее ногой. В огромной этой двери отворилась маленькая дверца, художник шагнул в черноту, дверца захлопнулась за ним.

Кянукук согнал голубей, встал и вышел из сквера. Он сразу оказался на людной торговой улице, на которой, несмотря на ветер, жизнь кипела.

Снова померк солнечный свет. Начался дождь. На город со стороны залива быстро неслись все новые и новые тучи. Кянукук поднял воротник пиджака и побежал вниз по улице.

Он заскочил в телефонную будку и набрал номер Лилиан.

— Виктор, вы причиняете мне горе, — сказала Лилиан. — Куда вы пропали? Я все время думаю о вас.

— Лилиан, — сказал он, — мужчина должен самостоятельно идти по жизни, смело чеканя шаг.

— Ах, оставьте эти бредни, — нежно прошептала она, — дочь соскучилась по вас, а я...

— Я уезжаю, — перебил он.

— Куда? — вырвался у нее панический крик.

— Я уезжаю в Среднюю Азию, мы будем искать там нефть. Спасибо за все, Лилиан.

Он толкнул дверь закуской, в тамбуре отогнул воротник, расчесал на пробор мокрые волосы и вошел в зал. В зале было людно. Старенькая убор-

щица в синем халате бродила среди мужчин и посыпала мокрый пол опилками. Дождь стекал по темным окнам, а здесь был электрический свет, пар из окошка раздачи, таинственные табло автоматов: «Пиво», «Соки», «Кофе», «Бутерброды». Здесь он встретил матроса, с которым вместе грузил цемент на товарной станции.

5. Сезон давно уже был на исходе, но тут вдруг выдалось несколько жарких ясных дней, и последние гуляки устремились на пляжи, на водные станции, в леса.

Для Тани это был прощальный день: съемки закончились, почти все разъехались, в городе оставалась еще только маленькая группа операторов по комбинированным съемкам да кое-кто из администрации. И Таня завтра должна была лететь в Москву.

Солнце уже клонилось к закату. Оно висело в виде красного шара над ясным и бодрым морем, обещающая на завтра ветер и еще более резвые, чем сегодня, волны.

Таня в купальном костюме сидела на мостках яхт-клуба, свесив ноги. Она разглядывала свои руки. Все же она загорела за лето довольно сильно. Конечно, это не южный загар. У южного загара совсем другой оттенок, южный — йодного цвета, здесь же загар красноватый, нестойкий, но все-таки...

За спиной у нее раздавался стук шарика и короткие яростные возгласы. Эдуард и Миша сражались в пинг-понг. Эдуард накатывал, Миша подрезал. Рядом с Таней сидел Кянукук, высушенный, как индус. Он обхватил ноги руками, положил подборо-

док на колени и мечтательно смотрел в море. Кто знает, что он видел в этот момент, должно быть, разные романтические образы: Фрэнси Грант, Ассоль и так далее. Верхняя губа его неприятно шевелилась.

— Мечтаешь, Витя? — спросила она.

— Лето кончается, — вздохнул он. — Жалко.

Она повернулась и положила ему локоть на плечо. Он вздрогнул, словно от тока, и сжался.

— Ты продолжаешь переписываться с Марвичем? — спросила она.

— Да. Только что получил. Он собирается уезжать куда-то в Сибирь.

Таня посмотрела в море. Катер уже появился из-за мыска. Он тащил за собой пенный бурун, а еще дальше за катером летела смуглая фигурка — это был Олег.

— А тебе он не сообщил об отъезде? — спросил Кянукук.

— С какой стати? — Таня дернула плечиком.

— Ну, как же... — пробормотал он. — Ведь вы все-таки...

На спине его под Таниным локтем дрожали мышцы. Она сняла руку и встала.

— Ах, во-от как, — протянула она. — Ты тоже посвящен в наши тайны. Ну, это все в прошлом.

— Ты завтра уезжаешь? — спросил Кянукук, глядя на нее снизу.

— Да.

Она смотрела на катер.

— Я тоже, наверное, скоро уеду, — сказал он.

— Ну, что ты там еще придумал?

— Должно быть, уйду в Атлантику, на плавбазу.

— Бездарно, — сказала она. — Раньше у тебя лучше получалось.

Уже был виден летящий в пене Олег, концы его лыж, мускулы, напряженные до предела, закинутая в счастливом хохоте голова.

Подошли Эдуард и Миша.

— Сделал я Мишу, — похвалился Эдуард.

— Просто я отработывал защиту, — отбрил Миша.

— Прыгнули? — предложила Таня.

И они втроем прыгнули. Кянукук остался сидеть на мостках. Он видел, как они ушли в глубину и как потом пошли вверх, как колебались в воде их тела, как вынырнули на поверхность головы. Всегда, когда он видел ныряльщиков, его охватывали зависть и уныние — он не умел плавать.

— Прыгай, Кяну! — крикнул Эдуард.

Он помотал головой.

— Не хочется. Горло болит.

— Да он плавать не умеет! — засмеялась Таня.

Она схватилась за поручни железной лесенки и наполовину вылезла из воды.

В треске мотора, в шорохе, в свисте, в потоках воды, в брызгах налетел бронзовый бог Олег. Таня подняла руку, приветствуя его.

Мало что изменилось у них с того дня. Таня сама не понимала, что сдерживает ее. Она ругала себя дурой, мещанкой, кляксой; так и юность пройдет, и нечего будет вспомнить. Какая она актриса, она обыкновенная курочка ряба. Тоски по Марвичу давно уже нет, убеждала она себя, все это дело прошлое и ненужное, и она ему не нужна, уж он-то небось

развлекается, как хочет... Она любовалась Олегом каждую минуту: вот тот самый парень, который нужен ей сейчас, в Москве она придет с ним в ресторан ВТО, и все будут глядеть на них и шептаться: он юноша, герой, муж, разбойник и защитник — то, что надо. Но что-то останавливало ее, что-то в Олеге настораживало, отталкивало, и она, сама того не замечая, начинала с невинным видом язвить, вышучивать его. Олег в такие минуты совсем выходил из себя, страдала его честь. Он становился жалок, когда при Мише и Эдуарде начинал разыгрывать из себя ее властелина, победителя. Она не мешала ему этого делать, понимая, что значит для него авторитет у этих людей. Вот это еще очень смешило ее.

Недавно он пришел и с небрежной улыбкой сказал:

— Старуха, я сообразил, что именно такая женщина, как ты, нужна белому человеку.

— Что это значит?

— Хочешь, я женюсь на тебе?

Она вспомнила Марвича, усмехнулась и медленно проговорила:

— Они прожили вместе сто лет и умерли в один день. Такая программа, да?

— Ну, зачем же так? — вскричал он. — Просто поженемся, и все. Свадьба там и прочие мероприятия. Батя купит нам однокомнатную квартиру в кооперативе. Представляешь, как мы будем жить? Свобода и любовь!

— Представляю.

Иногда они говорили «на серьезные темы».

— Я многого добьюсь, вот увидишь, — говорил он.

— Кулаками? — спрашивала она.

— Ну нет. Посмотрела бы ты мою зачетную книжку — только высшие баллы.

— Ах ты, мой отличник!

— Не смейся, мне это нужно. Понимаешь, батя мой — шишка на ровном месте, и поэтому я живу так, как другие не могут. Но в нашем обществе посты не передаются по наследству, и знания свои батя не может мне завещать. Поэтому надо самому соображать, как вырваться на орбиту. Батя мне передал кое-что — свою силу и хватку, вот что. Я ведь наблюдаю за ним.

Ей становилось неприятно, страшно, но она гнала от себя страх.

— Ты еще мальчик, Олег.

— Нет!

— Ты просто красивый мальчик.

— Нет, нет, ты ошибаешься!

...Все они вылезли на мостки и заплясали на них, радостные от молодости, от легкости и силы. Брызги слетали с них, и Кянукук стал мокрым. Он тоже плясал.

Миша включил приемник, нашел какую-то музыку и сообщил, что это новый танец «босса-нова». Миша всегда был в курсе всех новинок. Он показал, как танцуют «босса-нову», и все сразу усвоили эти нехитрые па. Эдуард пригласил Таню, а Олег пригласил Кянукука. Две парочки стали отплясывать на мостках, Миша хлопал в ладоши.

Потом они пошли обедать. Решено было веселиться остаток дня, весь вечер и всю ночь до утра, прямо до Таниного самолета.

За обедом на открытой террасе кафе они взяли

коньяку, захмелели, ели много и вкусно, шумно разговаривали.

Солнце краешком уже задело воду. От горизонта прямо в кафе катились красные волны. За стеклом был виден саксофонист в темных очках. Он задумчиво выводил какую-то неслышную здесь мелодию.

Они сидели за столом, поднимали рюмки, подмигивали друг другу.

— На Гавайских островах любимый спорт — плавание по волнам на доске. Безумно сложная штука, — говорил Олег.

— Я помню, был на соревнованиях во Львове. Так вот, выдали нам талоны на питание, а мы с Гошей Масловым... — рассказывал Эдуард.

— Таня, у тебя в Москве много подруг? — спросил Миша.

— Наш режиссер тиран, невозможный тип, — жаловалась Таня.

— Конечно, доска не простая, специальной выработки, стоит тысячу долларов.

— А Кольчугин — это просто террорист.

— А Гошка Маслов — страшный заводила.

— У меня есть идея в зимние каникулы снять хату под Ленинградом.

— Главное, не упасть и стараться держаться на гребне волны.

— Так мне все надоело, а еще павильоны, озвучивание, ужас!

— У них там плешка возле памятника Мицкевичу.

— К Новому году, думаю, у нас будет мотор.

— Важно не потерять доску. Это позор для спортсмена.

— Вчера опять звонили из Ленинграда.

— А они, понимаешь, любительницы кофе с коньяком.

— Вы видели новую модель «Москвича»?

— Эта традиция идет еще от древних гавайцев.

— Крутят тебя, как куклу, перед камерой.

— Ну, ясное дело, он ей делает «ерша».

— Отличная отделка. Корпус типа «фургон».

— Как вы думаете, смог бы я проплыть на доске? — спросил Олег.

— Гаврилова получает по высшей ставке, а я что, рыжая, что ли? — сказала Таня.

— И вдруг вваливаются те пижоны, которых и не звали, — сказал Эдуард.

— Один малый в Москве достал себе «Альфа — Ромео», — сказал Миша.

— Тише! — крикнул Олег и ударил ладонью по столу. — Я спрашиваю: смог бы я проплыть, стоя на такой доске, или нет?

— Что ты такое говоришь? — удивилась Таня.

Олег закусил губу и зло посмотрел на всех.

— Конечно, смог бы, Олежка. Каждому ясно, что смог бы, — сказал ему Кянукук.

— Действительно, это несправедливо, — сказал он Тане.

— Скажи, пожалуйста, «Альфа — Ромео», — сказал он Мише.

— Ну и что дальше было? — спросил он у Эдуарда.

— Ага, тут Гошка Маслов преподносит одному по кумполу, — обрадовался Эдуард.

— Кретин, — процедил сквозь зубы Олег.

— Что-о? — Эдуард отшвырнул вилку и уставился на Олега. — Что ты сказал?

— Я сказал, что ты кретин, — мирно улыбнулся Олег.

— Ах, так! — Эдуард встал и подошел к Олегу. — Хорош дружок, нечего сказать. Ты думаешь, если я на твои деньги сейчас кирую, то ты можешь... А ты-то знаешь, кто ты такой? Знаешь, нет? Хочешь, скажу?

Кянукук похолодел и вцепился пальцами в стол. Он знал, что сейчас Эдуард скажет как раз то, после чего Олег двинет Эдуарду. Он уже видел, как летит в сторону Эдуард и сразу вскакивает, ощерясь, и видел боксерскую стойку Олега: Таня была бледна. Миша выжидательно улыбался. Эдуард нагнулся к уху Олега, чтобы сказать ему, кто он такой. Кянукук вскочил и закричал:

— Ребята, одну минуточку! Я предлагаю тост за полковника Кянукука, за его счастливое плаванье. Ведь я, друзья, скоро ухожу в Атлантику. Жду, когда придет плавбаза «Петропавловск». Уже оформляюсь, вот как.

— Капитаном оформляешься, Кяну? — спросил Миша.

— Помполитом, — буркнул Эдуард.

— Первая удачная острота за весь сезон, — сказал Олег.

— Ты-то уж больно остер, — огрызнулся Эдуард.

— А как же Лилиан, Витя? — вставила находчивая Таня.

— Бедная моя Лилиан, — театрально вздохнул Кянукук. — Как поется в песне: «Ты стояла в белом платье и платком махала».

Все засмеялись, начались общие упражнения на тему «Лилиан», общее веселье, посыпались шуточки, и конфликт был забыт.

После обеда отправились в город. Эдуард оседлал свой мотоцикл, Миша прыгнул в коляску. Олег сел за руль «Волги», Таня рядом с ним, Кянукук развалился на заднем сиденье один. Помчались. Началась гонка. Эдуард сразу ушел вперед, Миша оборачивался, корчил зверскую рожу, «строчил из автомата».

Олег нагонял. Таня обняла его за шею.

— Подожди, девочка. Принципиальная гонка, — сквозь зубы процедил Олег.

Не задумываясь, он сделал левый обгон автобуса и сравнялся с мотоциклом. Кянукук «метнул гранату». Олег вырвался вперед метров на сто. Оглянулся и оскалился. Сзади с проселочной дороги на шоссе выворачивал мотоцикл автоинспектора, преграждая путь Эдуарду.

— Ты мальчишка! — воскликнула Таня.

— Нет, — коротко бросил Олег.

— А я хочу, чтобы ты был мальчишкой, — закапризничала она.

— Ну, хорошо, — согласился он.

Кянукук посмотрел на их затылки и вдруг почувствовал, что ему очень хочется дать Олегу ребром ладони по шее.

Море скрылось. По обеим сторонам шоссе теперь тянулись сосновые леса. Справа, там, где было невидимое сейчас море, над соснами висели розовые и фиолетовые закатные облака. В соснах иногда мелька-

ли белые рубашки, по обочинам тихо проезжали велосипедисты, перед дачами люди играли в бадминтон.

Кянукук подумал, что он напрасно сидит здесь, на заднем сиденье чужой «Волги», что напрасно он остановил драку Олега и Эдуарда: пусть бы как следует наkostenяли друг другу: напрасно он смотрит на затылки этих двух людей, лучше бы сейчас на лихтере поиграть с детьми, дожидаться матросов и спеть им какие-нибудь песни, помечтать о приходе «Петропавловска», а это все — напрасное, напрасное и ненужное; ну, хорошо — в последний уж раз; ну, черт с ним — ведь в самый последний.

— Спички, друг мой Кяну, спички! — воскликнул Олег.

Кянукук перегнулся через спинку и дал ему прикурить.

Впереди несколько машин медленно объезжали асфальтоукладчик. Пришлось и Олегу сбросить скорость. Асфальтоукладчик своей странной формой походил на гигантскую черную пишушую машинку древних времен. Над ним струился нагретый воздух. Внизу, у его подножия, полыхал огонь. Девушки в вылинявших майках и ситцевых шароварах шуровали лопатами ноздреватую черную массу. За рычагами сидел костлявый парень в бабьем платке, пиратски обмотанном вокруг головы. За укладчиком тянулась широкая дымящаяся полоса нового асфальта. Там еще подрабатывал каток.

«Вот работают, — подумал Кянукук, глядя на девушек, на парня, на асфальтоукладчик и каток. — Молодцы!»

Через несколько минут они уже въезжали в предместье, где шла тихая вечерняя жизнь: у ворот де-

ревянного дома стояли солдат с девушкой, группа мужчин освежалась пивом у голубого ларечка, около столба с репродуктором слушала футбольный репортаж другая группа; в переулках лежала мягкая коричневая пыль, ватага ребят бежала куда-то с мячом, а один их сверстник тихо сидел возле забора и что-то строгал.

«Так вот и я в Свердловске всегда уединялся от ребят, — подумал Кянукук. — Если бы не уединялся, небось не вырос бы таким».

Мальчик скользнул взглядом по их машине. У него были крутой лобик, и волосы ежиком, и внимательные добрые глаза.

«Мне бы такого внука к старости бог послал», — подумал Кянукук.

Он остался ждать в вестибюле гостиницы, пока «ребятишки» переоденутся. Сел на диван и углубился в чтение проспекта, возвещавшего сразу на трех языках об удобствах гостиницы и красотах побережья. Вскоре он заметил в толпе приезжающих и отъезжающих, иностранцев и наших, итальянского певца Марио Чинечетти. Марио уныло беседовал со строгим гражданином явно не артистического вида. Кянукук привстал и поприветствовал итальянца:

— Салют, Марио! Привет представителям стиля «прогрессив»!

Певец, вместо того чтобы бурно ответить на привет, только вяло помахал ему: подожди, мол. Что такое?

Марио кивнул несколько раз серьезному гражданину, получил из его рук какую-то бумажку, вздохнув, сунул ее в карман, подошел к Кянукуку и сел рядом на диван.

— Все, — сказал он, — нащупали. Придется возвращаться.

— Куда? — изумился Кянукук. — Неужто в Геную?

— В Вологду, — ответил Марио. — Я в Вологде живу.

— То есть? — опешил Кянукук.

— Вообще-то я ленинградец, — загорячился Марио. — Понимаешь, старик, выселили в административном порядке. Несправедливость, понимаешь? Сиди теперь и тухни в этой Вологде.

— Фарцовка, что ли? — смекнул Кянукук.

— Грехи молодости, — уклончиво ответил «итальянец».

— Ничем не могу помочь, Марио, — вздохнул Кянукук.

— Меня не Марио зовут, Колей, — печально отозвался Марио. — Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Вот как получается.

Помолчали. «Итальянец» почесал ногтем пробор, потер рукавом блестящие пуговицы на своем пиджаке, который он называл «блэйзером», то есть «клубным» пиджаком.

— На юг, что ли, податься? — прикинул он. — Деньги нужны. В наше время, знаешь, без денег...

— Что верно, то верно, Марио, — покивал Кянукук.

Он переживал за «итальянца».

— Коля, — мрачно поправил певец.

— Да, прости, Коля.

По лестнице в вестибюль сбежала Таня. Она была в широкой шерстяной юбке, в свободной кофточке, бежала, быстро-быстро перебирая ногами, глаза

ее блестящие волосы были растрепаны. Компания иностранцев изумленно уставилась на нее.

— Чего они уставились, эти чудосочные американцы? — возбужденно воскликнула она.

— Это финны, — уточнил Марио.

— Слушай, Кяну, — быстро заговорила она, — они уже там надрались, не хотят спускаться. Идем стацим их. Я хочу сегодня развлекаться и ездить по городу. Марио, пошли с нами!

— Коля, — поправил Марио, — меня зовут Коля.

— А у итальянцев всегда несколько имен! — воскликнула Таня. — Марио-Коля-Джузеппе-Квазимодо. Я тебя буду звать Квазимодой.

Они стали подыматься по лестнице.

— Кажется, ты тоже успела хлебнуть, Таня? — осторожно спросил Кянукук.

— А ты что думал? — крикнула она. — Я ведь завтра уезжаю. Мне на все наплевать. Я сегодня буду очаровательной.

— Не разыгрывай, пожалуйста, из себя хемингуэевскую героиню, — тихо сказал Кянукук.

— Что-о? — возмутилась она. — Ишь ты, как заговорил! Тоже мне Ванька-Встанька. Дай-ка я тебя поцелую.

Она прижалась к Кянукуку всем телом, обхватила его шею и нежно, сильно поцеловала в губы. Потом быстро побежала вперед, крикнула на ходу:

— А вот и буду разыгрывать! Это моя профессия! Всех сегодня разыграю!

Сверкнула глазками, как бес.

Кянукук прислонился к перилам. Ему вдруг стало зыбко, нехорошо, пусто как-то, все было чужим. Что это за женщина там, наверху, смеется, что за

мужчина рядом, почему не слышно петухов, ночь или день, сплю или так, фантазирую?

Сверху чинно спускалась троица в вечерних костюмах.

В этот вечер они просто неистовствовали, гоняли по кривым и горбатым улицам, вваливались в рестораны и маленькие кафе, в буфеты, в магазины. В каком-то кафе они встретили Нонку, говорливую девицу, жадную до танцев, до кутежей. Как раз из-за Нонки Эдуарду и Мише пришлось крепко поговорить с одним пареньком, пришлось вывести его на задний двор и поучить уму-разуму.

Таня танцевала без устали, танцевала со всеми подряд. Она была хмельная, растрепанная и очень красивая. Везде ее узнавали, везде шептались: «Вот Таня Калиновская идет». А потом уж кое-кто стал кричать: «Таня, иди к нам!» Она подходила и садилась, а потом шла танцевать с кем-нибудь из той компании, но тогда подходил Олег, крепко брал нагльца за руку, и тот уже больше не отваживался покрикивать: «Таня, иди к нам!»

Они облепили стойку в кафе «Гном». Нонка повизгивала — с двух сторон за бока ее держали Миша и Эдуард. Таня тормозила Кянукука.

— Выпей, Витька! Ну что ты сидишь и сопишь? Тоже мне Чайльд Гарольд с хроническим насморком. Посмотри, как пьет мой маленький мальчик Олег! Как он прекрасен, взгляни только. Посмотри, как он расплачивается, какой он богач! Подумаешь, я тоже богачка, я зарплату получила!

Она вытащила из сумочки и бросила на стойку несколько красных бумажек.

— Пожалуйста! Кяну, хочешь денег?

Кянукук выпил.

— Не нужны мне твои деньги. Вот приеду весной в Москву, тогда увидишь, что такое настоящие деньги.

Олег схватил Таню и стал целовать ее в шею. Заметив это, Эдуард и Миша взялись за Нонку.

— Перестаньте безобразничать! — крикнула буфетчица.

— Тише, мать, — сказал Эдуард.

— Синьоры, сюда пришли дружинники, — предупредил Коля-Марио Чинечетти.

— Спокойно! — скомандовал Олег. — Выходим на улицу. Мирно, без эксцессов.

На улице было свежо. Над ратушей, над корабликом флюгера, висела полная луна.

— Поехали дальше! — крикнула Таня и прыгнула в коляску мотоцикла. — Поехали, я знаю одну улицу, вы там наверняка не были. О-о-о-чень ин-те-рес-ная улица!

Тронулись, набившись в «Волгу» и оседлав мотоцикл. Таня командовала. Долго плутали среди сумрачных, слабо освещенных домов, и, наконец, мотоцикл нырнул в черную щель между древним амбаром и крепостной стеной. «Волга» остановилась возле щели, проехать дальше она не могла. Все с шумом, гвалтом вывалились из машины и притихли.

Это была улица Лабораториум. Ни единого огонька не светилось в черном коридорчике, только тусклые звезды — прямо над головой. Четыре простые и суровые башни мрачно рисовались на фоне неба. Где-то в глубине улицы в кромешной тьме заглох мотор мотоцикла и послышался гулкий голос Тани:

— Что, страшно?

Олег, стуча каблуками по булыжнику, пошел на голос и сразу пропал.

— Ой, страшно! — взвизгнула Нонка.

Послышалась возня, потом сдавленный смех Нонки, хохот Эдуарда.

— Зачем эти башни? Кому они нужны? С чем их можно кушать? — с одесским акцентом закричал Миша.

Кянукук, облазивший ранее весь этот северный город и знавший здесь уже все, был удивлен, как это он миновал эту улицу, удивительную, волшебную улицу, память о которой должна сохраниться навсегда?

Из-за башни показалась луна, тихий ее свет лег на полосу булыжника. Все общество сбилось в кучу, потом образовался круг, по кругу пошла бутылка. Марио Чинечетти запел какую-то песню в ритме твиста. Все пустились в пляс. Таня и Нонка сбросили туфли. Кто-то притащил еще бутылку, потом третью.

— Нонка, полезешь со мной в эту башню? — спросил Миша и, не дожидаясь ответа, потащил девицу к стене.

— Идите, идите! — крикнула Таня. — Это очень хорошая башня.

— Стой! — крикнул Эдуард и одним прыжком настиг Мишу. — Ну-ка, брось девчонку.

Нонка прижалась к стене и притихла. Она любила, когда из-за нее ссорились молодые люди.

Эдуард и Миша сбросили пиджаки. Миша ударил первым и отскочил. Эдуард сделал обманное движение и закатил Мише апперкот в живот. Тот согнулся. Тогда Эдуард дал ему хуком по голове. Миша кое-как выпрямился и яростно налетел на

Эдуарда. Они вошли в клинч, потом опять отскочили друг от друга. Бою их не было конца.

Марио продолжал петь, иногда прикладываясь к бутылке. Нонка тихо сидела на камушке. Олег и Таня забрались на стенку и стояли там, обнявшись.

«Черт с ними, пусть лупят друг друга», — подумал Кянукук, взял из рук Марио бутылку и хлебнул.

Никогда он не пил столько, сколько сегодня, но пьяным не был, а только становился каким-то злым, каким-то упорным; ему хотелось взять арбалет и стрелой снять Олега со стены, а Таня чтобы там осталась и стояла одна, чтобы за спиной у нее была луна и только.

«Ах ты, гад! — подумал он, глядя на удивительно красивый силуэт Олега. — Откуда ты взялся, красавец? Кто ты такой, чтобы Вальку Марвича бить? И еще стоять на стене с его женой! Подлец, проваливай с этой улицы! Проваливайте с этой улицы вы все!»

Эдуард и Миша, сцепившись, покатались по земле. Тут уже Эдуард был королем: ногой он зажал Мишино горло и взял его руку на болевой прием. Миша завизжал. Эдуард не отпускал его.

— Эй вы, психи, кончайте! — крикнул Олег, прыгнул со стены и растащил дерущихся.

Миша плакал.

— Гадина, — стонал он. — Кто тебя просил переходить на кетч?

— Молчал бы лучше! — гаркнул Эдуард, подтягивая штаны.

— Ну и общество, — заметила со стены Таня. — Есть шампанское? — крикнула она.

— Надо съездить, — сказал Олег. — Междоусобицы отменяются. Будем веселиться тихо, как дети. Надо съездить за шампанским, Эдик!

— Не поеду, — буркнул Эдуард. — Мало ли чего она захочет!

— Кто съездит, того поцелую, — распевала Таня на стене. — Поцелуй знаменитой артистки. Знойный поцелуй за бутылку шампанского. Серьезно, ребята, хочу шампанского!

— Я съезжу! — крикнул Кянукук и побежал к мотоциклу.

— Не смей! — перепугалась Таня и побежала по стене. — Не смей, Витька, ты же не умеешь!

— Ах вот как, не умею? — шептал Кянукук, заводя мотор. — Не умею, говоришь? Ничего не умею, да?

Он завел мотор и медленно поехал по улице Лабораториум.

— Не нужны мне твои поцелуи! — крикнул он Тане. — Просто так съезжу, и все! Прокачусь! Кому нужны твои пошлые поцелуи?!

— Остановите его! — крикнула Таня.

Подбежал Олег.

— Кяну, дружище, ты в самом деле умеешь?

— Отстань ты! — крикнул Кянукук, прибавил газу и с грохотом вылетел на освещенную улицу. Оглянувшись, он заметил, что Олег, Миша, Эдуард и Марио изо всех сил бегут за ним.

— Фиг вам! — засмеялся он.

Купить шампанское в этот час можно было только за городом. Надо было мчаться по шоссе в сторону яхт-клуба и, не доезжая до него, свернуть направо к аэропорту, где круглые сутки работал буфет.

Кянукук действительно разобрался в мотоциклах. В восьмом классе, лет, стало быть, десять назад, он посещал занятия в мото клубе. Потом, правда, ездить не приходилось. Одно время собирал деньги на мотоцикл, мечтал о «Яве», но вскоре ухлопал все сбережения на радиодетали.

«Неважно, — думал он. — Вон как прекрасно идет. Слушается меня».

Он быстро пересек город, прибавил скорость, промчался через предместье...

«Мальчик тот давно уже спит».

...Еще прибавил скорость и вырвался на шоссе. Огни по сторонам стали мелькать все реже-реже, начался лес, контуры его почти сливались с темным небом. Иногда впереди возникали слепящие фары, Кянукук тогда тоже включал свою фару. Фары впереди гасли, зажигались светлячки подфарников, тяжелые машины со свистом проносились мимо.

Лес кончился. Впереди горбом выгнулось залитое луной пустынное шоссе. Слева повеяло холодом, там в огромно мерцающем пространстве угадывалось море.

Кянукука сзади за живот обхватили теплые руки Лилиан. Подбородок ее лег к нему на плечо.

— Куда ты мчишься, мой отчаянный мальчик? — крикнула она.

— В аэропорт надо слетать, за шампанским! — ответил он.

Лилиан со вздохом разжала руки.

Снова начался лес, снова темнота, только в глубине леса иногда призрачно возникали темные стекла дач.

Быстрее! Еще быстрее! Что может быть прекраснее скорости? Скорость убивает томление и заполня-

ет пустоту, она наводняет человека, включает его в себя. Любое движение — это цель! Побольше километров мотай на спидометр! Сколько парней летят сейчас по ночному миру на мотоциклах, и среди них ты не самый худший.

Прямо перед собой очень близко он увидел черную сплошную глыбу величиной с избу. Послышался легкий треск, мелькнул падающий огонек. «Асфальтоукладчик», — сообразил Кянукук, и в следующее мгновение чудовищный удар убил его.

Взорвался бак мотоцикла, огненный шар поднялся в небо. Тело Кянукука, вбитое в асфальтоукладчик, покатилося вниз, прямо на горящие обломки мотоцикла.

Часа через полтора Олег, Таня и Эдуард отправились его искать. Олег вел машину на большой скорости. Таня сидела рядом с ним. Сзади сопел Эдуард.

— Вдруг с ним что-нибудь случилось, — волновалась Таня.

— Ничего с ним не случилось. Нализался, наверное, в аэропорту и дрыхнет там, — ворчал Эдуард.

— Хорошо, если так, — сказала Таня, — а вдруг...

— Мне мотоцикла не жалко в конце концов, — сказал Эдуард.

— Кретин! — истерично крикнул ему Олег.

— Ах ты, гад! Все обнаглели, — рассердился Эдуард и ударил Олега кулаком по голове.

— Олег, прошу тебя, скорей! — взмолилась Таня.

— Потом с тобой поговорим, — пообещал Олег Эдуарду.



Когда фары осветили небольшую толпу на шоссе, желтую ковбойку рабочего, милицейский мундир, белый халат врача, еще что-то, Таня и Олег сразу поняли, что это как раз то самое. Олег остановил машину, они выскочили и побежали к толпе.

Перед асфальтоукладчиком стоял милицейский фургон с горящими фарами. Фары освещали землю. Какие-то люди ходили между укладчиком и фургоном и что-то измеряли, тянули ленточку. Долговязый лейтенант, поставив ногу на подножку машины, курил папиросу. Другой лейтенант сидел на корточках в свете фар. Прямо перед ним торчала согнутая в колене обгоревшая нога в лохмотьях. Тело погибшего и голова его были в темноте.

— Господи! — закричала Таня.

Олег обнял ее.

Вокруг разговаривали люди.

— Ограждение было вокруг укладчика, это точно...

— И красный огонь, как полагается...

— Экспертиза установит...

— Пьяный, наверно, был...

— Вот водка до чего доводит.

Подъехала еще одна машина. От нее к укладчику пронесли носилки, поставили рядом с трупом. Рабочий в желтой рубашке и милиционер-сержант подцепили лопатами тело и перекатили его на носилки. Олег закрыл Тане лицо.

— Кто он такой, не знаете?..

— Документы были?..

— Только санитарная книжка матроса...

— Говорят, двадцать пять лет всего пареньку...

— Купил, наверное, машину и с радости...

— Может, к девушке ехал...

Олег повел Таню. Эдуард поплелся за ними. Таня отяжелела, обмякла, еле тащила ноги. Они ушли в темноту, к лесу, в теплый сосновый воздух.

— В конце концов мы не виноваты, — сказал Эдуард. — Мы его не гнали, а ты ведь кричала, Таня: «Не смей!» Я сам слышал, как ты кричала: «Не смей!»

— Оставьте меня! Оставьте меня! — закричала Таня, вырвалась и побежала по шоссе.

— Сматываться надо, Олечка, — сказал Эдуард, — а то, знаешь, потянут на пробу Раппопорта. Лучше завтра заявим.

— Вот тебе, получай! — крикнул Олег и сбил его с ног.

ВСТРЕЧИ

1. Прошла осень, и зима начала накручивать свои московские деловые дни, песочком сыпала на гололед, в оттепель промокали ноги; зима тянулась без конца и всем уже надоела, когда вдруг небо стало подозрительно просвечивать на закате и день за днем все больше прорех появлялось в замкнутой зимней московской сфере; прошло семь или восемь месяцев после гибели Кянукука, когда наступила весна, вряд ли веселая для Тани, но все-таки это была весна, и световые рекламы в этот час по-особенному зажглись на фоне бледного заката и словно подтвердили ей это, когда она вышла из метро на площадь Маяковского. Каблочки ее зацокали по чистому асфальту Садового кольца.

«В общем я не так и стара», — Таня чуть не подпрыгнула от этой мысли. Она увидела свое лицо на афише анонсированного фильма.

«Ого, — подумала она, — красивая девка!»

А огоньки уже зажигались вдаль на площади Восстания, зажигались, зажигались, накручивалась зеленая лента, стоп-сигналы муравьиными отрядами бежали вверх, площадь распахивалась перед ней все шире, словно счастливое будущее, и ей стоило

усилий свернуть в переулочек, сдерживать неразумные свои ноги.

Она подошла к пруду. Лед почти уже растаял, он был черный, в угольной пыли, большая проталина возле лебяжьего домика дымилась. Лебеди выходили поразмяться. Они были гадкие, запущенные за зиму, тела их напоминали подушки в трехнедельных наволочках, подушки, истыканные кулаками, изъезженные вдоль и поперек шершавыми щеками.

— Дура, — шепнула Таня, наблюдая лебедей.

Лебеди плюхались в темную дымную воду, вытягивали шеи, вздрагивали.

Весь седьмой этаж дома напротив отражал красный закат.

Таня побежала к своему дому.

«Беги быстрее, дура, — твердила она себе на бегу. — Юность твоя прошла, и ничего особенного не происходит. Тебе надо одеваться, мазаться, краситься, у тебя сегодня премьера. Ты деловая женщина. Дура, дура, дура!..»

Она закрыла за собой тяжелую дверь парадного, но не удержалась, вновь приотворила ее, высунула голову на улицу и в последний раз вдохнула ее воздух, весенний грязный холодный еще воздух, безумный воздух. Затем — по желтому мрамору вверх, на третий этаж.

— Тебе почта, — сказала мать. — Куча писем и телеграмм.

Начальственная ее мама в черном костюме, готовая к премьере, пошла за ней.

— Ты опаздываешь, — говорила она. — Тебе помочь?

Таня стащила с себя любимую одежду — свитер



и мохнатую юбку — и быстро завертелась по своей комнате. Мать наблюдала за ней.

— Дочь! Безумица! — завыл в глубине квартиры папа.

— Зачем ты кладешь тон? — сказала мать. — И так свежа... В почте, кажется, есть письмо от Валентина, — сухо сказала она.

— Ну, хорошо, мы с отцом пойдем, — сказала мать. — За тобой заедут?

— Кто-нибудь заедет, — быстро проговорила Таня и присела у зеркала.

Мать вышла из комнаты и притворила дверь.

— Где письмо? — истерически закричала Таня.

Вот ведь в чем дело, вот ведь что, предчувствия во время быстрой ходьбы от метро, первое письмо чуть ли не за год, весна пришла, талый лед, пар над водой, неоновые рекламы, вот оно что. Где письмо, где?

Мать сразу вбежала с письмом и тут же выбежала.

Хлопнула входная дверь за родителями, они ушли на премьеру.

Как Валька бежал вдоль пляжа под луной, полетел по камням — прыжок, прыжок, живот втянутый, ноги длинные, а ночь была мрачная, несмотря на луну, ветер стучал по соснам, как палка по забору, и Валька сорвался в воду, взлетел снап холодных алюминиевых брызг, тогда он и вернулся к ней, смеясь, голый в такую холодину, сумасшедший, вот сумасшедший!

Она зябла у зеркала, читая письмо, и иногда взглядывала на себя, зябкую. Письмо было короткое:

«Пожалуйста, не думай, что я пьян, я почти не пью, у меня много работы, мне хорошо. Я пишу тебе, потому что мне больше уже невольно не знать о тебе ничего. Ну, любовь не любовь, но все-таки хоть раз в полгода давай о себе знать. Таня, намай открыточку, а, Таня? Адрес на конверте.

Мы тут с друзьями-товарищами со страшной силой «куем чего-то железного». Зарабатываю хорошо. Купил себе новое пальто за 85 р. Пока.

В а л е н т и н.

Р. С. Таня, вроде весна пришла, Таня.

Р. Р. С. Вышла замуж?»

Минут через пять пошли дикие звонки из Дома кино. Почему она еще дома? Не оделась еще? Сумасшедшая! «Хорошо, золотая рыбка, — прокричал Кольчугин, — сейчас я за тобой прикачу, и если ты, если ты...» Она повесила трубку и больше уже не подходила к телефону.

Как-то раз она провожала Вальку. Он уезжал с Казанского вокзала. Смеясь, они пробежали зал, перепрыгивая через узлы, задевая гирлянды транзитных баранок. Он успел вскочить в последний вагон. Вообще вся жизнь с ним была наполнена постоянной спешкой. Вечно куда-то они опаздывали — вместе или в одиночку. Суетились.

Зато как ее поражало его спокойствие там, в Эстонии, на съемках. Вырядится вечером в свой костюм и бродит по городу, как лунатик. Безучастный взгляд: ни презрения, ни горя, ни любви — ничего в нем не было видно. Ей тоже приходилось притворяться. Они вели тогда бессмысленную борьбу друг с другом. До того вечера. Да, до того. А пос-

ле бред какой-то начался собачий. Олег, Миша, Эдуард — «рыцари»... Только покойник Кянукук...

Ну, хорошо. Вовремя пришло письмо. Только с таким настроением и идти на премьеру своего фильма.

Таня оделась, автоматически повертелась перед зеркалом, оглядывая себя со стороны, с большого расстояния, — можно было предположить, что задорная девушка собирается на свой первый бал, — и подошла к дверям, внимательно осмотрела свою комнату, в которой провела столько лет и эту зиму тоже.

Зиму эту Таня провела одиноко, невесело. Виной тому, конечно, были события прошлого лета — окончательный разрыв с мужем, дикая гибель Кянукука. Редко навещали ее отчетливые зрительные картины этого лета, но очень часто возникало болезненное воспоминание о какой-то ее страшной глупости, грубости, неловкости, и оттого она стала мрачной. Разные мальчики позванивали, а то и болтались возле подъезда, ей же казалось, что она старше этих мальчиков лет на сорок, они ей были смешны. О прошлой своей жизни она думала жестоко. Мещаночка, корила она себя, пустая мещаночка, деточка, цыпочка, дрянь!

Помнишь допросы в милиции, составление протоколов? «Вы здесь ни при чем, — говорили ей лейтенанты. — Вы-то здесь при чем?» — «Нет, при чем, при чем, — твердила она. — Это я виновата, я». — «Нервный срыв», — говорили тогда. «Это нервный срыв, товарищи», — говорила прилетевшая на пожар мама. «Никто не виноват, никто не виноват», — твердил осунувшийся Олег, большими шагами круживший по комнате. «Картина ясна», — сказал

майор-следователь, приехавший из республиканского центра.

Конечно, картина ясная: был человек, нет человека. Все сумасбродные идеи человека, ночные его видения, склонности, привязанности, доброта облачком горящего бензина взлетели в темное небо и испарились, растворились в нем. Вот только кому передать вещи, которые принес матрос? Имущество погибшего? Тощий рюкзак и ободранный чемодан с наклейками зарубежных отелей, в которых он никогда не жил, и с фотографией певицы Эллы Фицджеральд, наклеенной внутри. Кучка грязного белья, брюки, новенькие дешевые ботинки, припасенные, как видно, на осень, синтетическая куртка, роман Генриха Бёлля «Бильярд в половине десятого», несколько номеров молодежного журнала, письма. «Это еще что, — сказала мама, — зачем тебе эти письма?» — «Дайте мне эти письма хоть на одну ночь», — упорствовала Таня. «Ты была с ним близка?» — «Нет! Да! Да, была. Он был мне дорог».

Нервный срыв, что поделаешь. А зарядили уже в тех местах обширные осенние дожди, из которых, казалось, вырваться можно было только на самолете. Тенькали-тенькали без конца холодные капли по карнизу всю ночь.

...Позвонил и забарабанил в дверь Кольчугин. Он ворвался в квартиру весь блестящий с ног до головы, кинематографически элегантный. С причитаниями и аханьем осмотрел Таню.

На темной лестнице, по которой они бежали вниз к машине, он вдруг остановился и сказал:

— Танька, я хочу быть твоим другом. Слышишь? Просто другом, если невозможна любовь.

— Выпил уже? — спросила Таня, пробегая мимо.

— Итак, мы друзья, да? Друзья? — лепетал Кольчугин, догоняя ее.

И в машине он все болтал что-то о дружбе, не обращая на Таню внимания, глядя в окно, подтягивая галстук, сморкаясь. Как видно, он очень сильно волновался, вот и все.

Таня вынула из кармана смятое письмо Марвича, осветила адрес сигаретой. «Какой-то странный город — Березань. Дождик, дождик, перестань, я поеду в Арестань богу молиться, царю поклониться... Дождик, дождик, перестань, я поеду в Березань... Березань — березы, что ли? Разве в Сибири растут березы?»

На улице Воровского скопление автомобилей. Толпа возле Дома кино. «Девушка, билетик!» — «Таня, привет!» — «Здравствуйте, здравствуйте». — «Это Калиновская». — «Поздравляю». — «Не рано ли?»

Толпа становилась все гуще, и в вестибюле, и в холле, и в курительной комнате, и в буфете, и в ресторане плотные ряды знакомых лиц встречали Таню. В этом было даже что-то пугающее, хотелось все это огромное общество знакомых, друзей, чуть ли не родственников, окинуть сразу длинным взглядом, словно захлестнув петлю, и всем сразу сказать, сразу для всех: хорошо, да, хорошо, у меня все хорошо!

Кто это тебе протянул крюшон? А сбоку уже тянутся руки с конфетами. Как живешь? Хорошо. Как успехи? Хорошо. Ну, как жизнь молодая? Очень хорошо. А ты как? А ты? А вы?

Все жили хорошо, даже очень хорошо. Никто не

жил «так себе» во избежание дальнейших вопросов. Здесь еще толкаться не меньше получаса до начала. Вот так всегда.

Григорий Григорьевич Павлик отделился от группы корифеев и взял Таню под руку.

— Танюша, Танюша, се манифик! Лет десять назад я бы... Ха-ха-ха!.. Таня, — сказал он тихо и доверительно, — давай будем дружить, а? Ну, ругались, ну, ссорились — производство ведь, понимаешь? М-м-м, творчество, хм, без этого не бывает. Давай подружмся! Я хочу тебя еще снимать, у меня такие планы, м-м-м, понимаешь? М-м-м, буду работать на шарик, м-м-м, французикам нос утереть, м-м-м, эпопея, м-м-м... Договорились? Дружба?

Оставив ее, он ринулся в толпу.

Подошел старый Танин товарищ, знаменитый артист Миша Татаринков. Миша, писанный красавец, был кумиром юных кинозрительниц от Бреста до Магадана. Они поцеловались.

— Как дела, Мишенька? — спросила Таня.

— Плохо, — сказал кумир. — Замучился совсем. Андриюшка болен, двустороннее воспаление среднего уха. Жанка с домработницей разругалась, та ушла. Варьку теперь я вожу в детсад, и потом покупки, знаешь, и аптека, а у меня еще озвучание и театр, а теща в кризе лежит.

— Вот ведь навалилось как! — ужаснулась Таня.

Ей стало жалко Мишу. Девушки от Бреста до Магадана, должно быть, несколько иначе представляют себе жизнь своего любимца.

— Не говори! — махнул он рукой. — Пойдем хоть выпьем по рюмке.

С большим трудом они пробрались к стойке бу-

фета. Вокруг толпились умные молодые люди. Разговор шел несколько странный.

— Годар, — говорил один.

— Трюффо, — отвечал другой.

— А Бенюэль? — ехидно подковыривал третий.

— Антониони, — резко парировал четвертый.

Среди них стоял высокий парень в темных очках, за которым утвердилось слава большого таланта. Пока он еще ничего по молодости лет не сделал, но все знали, что в скором времени сделает что-то значительное.

— Я уже видел фильм, — сказал он, нагнувшись к Тане. — Вы там хороши. Хотелось бы подружиться. Не возражаете?

— Товарищи, давайте выпьем за Таню Калиновскую, — предложил Миша.

— За Таню! За Таню! — зашумели все.

«Какие милые все люди», — подумала Таня.

Ей стали вдруг симпатичны все эти люди и сам теплый воздух, настоящий на табачном дыме, на умных разговорах и на сплетнях — как же без них! — и на всеобщем ожидании чего-то возвышенного, безусловного и прекрасного. И что самое главное, во всех взглядах она читала призывы к дружбе.

Вдали над лысиной редактора и над седым париком крупной критикессы она увидела надменное лицо Олега. Он кивнул ей и немедленно прошел еще дальше, затерялся в толпе.

Последнее их свидание состоялось неожиданно, несколько месяцев назад. Ее пригласили на встречу со студентами в какой-то институт, и это оказался как раз институт Олега. Так она и не узнала, было ли это подстроено им или произошло случайно.

Она выступала там, в этом институте, вроде рассказывала что-то о себе и, так сказать, «делилась творческими планами». Выступать она не умела, сильно путалась, говорила какие-то шаблонные, свойственные «людям искусства» слова: «где-то по большому счету» и «волнительно» вместо «волнующе», — и произносила прилагательные мхатовским говорком, то есть так, как ни в жизни, ни на экране никогда не говорила, а потом и совсем потеряла нить мысли, покраснела, кляня себя, но юношеские лица в зале были так веселы и добры, что в конечном счете все сошло хорошо, всем она, как всегда, понравилась.

Потом ее окружили здоровые, спортивные парни и девушки с высокими прическами, отбили от любителей автографов и повели по своему институту, гордясь, показывали ничем не примечательные аудитории и залы. Помещение было не выдающееся, только сам институт был выдающимся.

В конце длинного пустого коридора она увидела Олега. Он разглядывал какой-то стенд. Он повернулся к приближающейся толпе и улыбнулся.

— А вот наш деятель! — засмеялись студенты.

— В самом деле он крупный деятель? — спросила Таня.

— У! — засмеялись студенты. — Большой человек! Большой Че!

— Мне что-то не верится, — сказала она.

Студенты зашумели, показывая на Олега.

— Лучший и выдающийся!

— Светлая голова!

— Железные нервы!

— Высшие баллы!

- А какие манеры!
- А элегантность!
- Вождь!
- Титан!
- Организатор и вдохновитель!
- Силач!
- Мощага!
- Вы можете им гордиться!

С этими криками, вроде бы и шутливыми, но почему-то неприятными для Тани, они окружили Олега. Тот молча улыбался. Кажется, он не обращал внимания на эти шутки. Таня кивнула ему.

— И никаких взысканий? — спросила она, улыбаясь.

Какой-то очень высокий парень, по виду спортсмен, снял очки и, глядя не на Таню, а на Олега, проговорил:

— Как вам сказать? На первом курсе наш Олег шалил, но это в далеком прошлом...

Шутки почему-то смолкли, воцарилось секундное молчание, все смотрели на Олега и высокого. Должно быть, что-то было между ними, далекое, но незабытое. Светлыми глазами Олег взглянул на высокого. Тот недобро усмехнулся, выбрался из толпы и зашагал прочь. Олег подошел к Тане.

— Ужасно ты выступала, Танюша, — улыбаясь, сказал он.

Они все шли и шли куда-то по институту, и Олег шагал рядом, взяв ее под руку, гордый и прямой. Они вышли из института вдвоем.

— Кажется, тебя не очень любят здесь, — сказала Таня.

Олег оглянулся на здание института.

— Осточертел мне этот детский сад, — проговорил он. — Сопляки несчастные!

Они пошли через парк. Было морозно, снег скрипел под ногами, меж сосен мелькали яркие плакаты.

— Я хочу пригласить тебя поужинать у нас. Я предупредил, домашние ждут, — сказал он.

Таня ответила, что зря он это сделал, она не пойдет.

— Оставь меня, Олег, пожалуйста, — попросила она.

Лопнуло тогда его напряженное спокойствие, и, чуть не крича, он стал уверять, что измучился без нее уже окончательно, что дальше так не может продолжаться, что она перевернула всю его жизнь.

— Да пойми же ты, наконец, что я в тебя влюблен! — вскричал он.

Она ответила, что ничем не может ему помочь. Они шли по мохнатым лунным теням, по пятнам сверкающего снега.

— Сириус? — спросила она, показав на созвездие.

Он закричал, что Сириус, что это гнусно, жестоко, что для всех у нее есть жалость, кроме него. И неужели из-за того дикого, нелепого случая, в котором никто из них совсем не виноват...

— Послушай, оставь ты меня. Разве ты не видишь — ночь-то какая, — сказала она.

Он повернулся и побежал назад, яростно и легко он унесся от нее по аллее.

Луна была с маленькой, еле заметной ущербинкой. Она огибала сосны, вежливо плыла над Таней, пока не спряталась в елках. Таня останавливалась,

чтобы разглядеть планеты. Парк кончался, уже был виден трамвай и огоньки такси.

Таня побежала, ей почудилось вдруг, что на трамвайной остановке может оказаться Марвич. Так ей всю зиму казалось — вот-вот из-за угла вывернет Валька в своем обшарпанном пальто. Ах да, теперь ведь он новое пальто себе купил. Наверное, какое-нибудь дурацкое импортное пальто.

— Брунда, — сказал молодой человек в темных очках другому молодому человеку в свитере. — В том фильме, о котором вы говорите, ничего нового нет. Элементарное раздвоение личности, вот и все.

Свитер стал возражать, но темные очки уже склонились к Тане

— А вы, Таня, как считаете?

— Мне-то какое дело? — дернула Таня плечиком.

Очки одобрительно пожали ее руку.

— Вы очень умны. Я много слышал о вас. Очень хочу стать вашим другом.

— Хорошо, подружмся, — сказала Таня и ушла с Мишей.

Начались звонки, и все повалили в зал. Полчаса ушло на представление группы. Павлик не жалел эпитетов для всех, он сказал, что переживал свою вторую молодость, работая с этим коллективом. Коллектив раскланивался и улыбался, вспоминая дожди и солнце, и как ругались, и как мирились, и как чудно было.

— А теперь мы покажем вам нашу скромную ленту, — сказал Павлик.

Коллектив сошел с эстрады в зал. Танино кресло оказалось рядом с автором. Автор хорохорился,

косил правым глазом на какого-то критика, иронически улыбался и шептал Тане на ухо: «Провал, Танька! Полный провал».

Погас свет, и потекла знакомая музыка, и потекли сто раз виденные кадры пролога, потом титры...

— Правда, приятно? — шепнул автор. — Все-таки приятно. Послушай, Таня, между нами какая-то двусмысленность, ты не находишь? Может быть, ты думала, что я ухаживаю за тобой, так это ошибка. Я ведь, знаешь... Я хотел бы с тобой дружить. Ну, конечно, не как парень с парнем, но все-таки, чтобы между нами были простые, ясные отношения.

— Да отстаньте вы все от меня! — вдруг почти громко воскликнула Таня.

Автор дернулся и затих.

«Ой, как я плохо играю! — думала Таня, глядя на экран. — Жуть! Фу! Побежала, побежала, дурища, бездарь! Что во мне от таланта? Ноги у меня талантливые, вот и все. А мало ли девчонок с длинными ногами? Ну, зачем нужен был этот план? Уставилась бараньими глазами! А что от меня требовалось? В сценарии была красивая девушка, вот я и играла красивую девушку. Ну, поплакала разок, ну, поругалась. Так всю жизнь я буду играть «красивых девушек». Веселое амплуа! Что толку? Может, когда состарюсь, тогда только и сыграю по-настоящему. Если будут меня еще снимать. А я хочу сейчас играть и сыграю еще, не думайте! Я сыграю трагическую роль, если ее кто-нибудь напишет. Напишут ее для тебя, как же, дожидайся! Я глупая, я мало читаю, вон в «Современнике» девки какие умные! Я теперь книжки буду читать, вот что!»

Таня, конечно, напрасно так убивалась. Играла она вовсе неплохо, может быть, даже и хорошо, и все в этом фильме было неплохо, а может быть, даже и хорошо, все было на «современном уровне», все на месте, кроме, разумеется, действия. Действия вот не было, к сожалению. Показана была симпатичная жизнь на симпатичных ландшафтах, ну, естественно, и разные передряги, но не такие уж и страшные — короче говоря, поиски места в жизни.

Побежал знакомый и милый прибалтийский пейзаж: сосны, длинные пляжи, черепичные крыши маленького городка, — и вдруг появилась на несколько секунд темная и узкая, как щель, улица Лабораториум, и четыре башни, а та башня... Таня не видела раньше смонтированного целиком фильма и не знала, что здесь есть это место, и, когда улица Лабораториум исчезла, ей захотелось крикнуть: «Остановитесь, остановитесь и больше ничего не показывайте!»

Но все это быстро промелькнуло. Она закрыла глаза, и, как будто во сне, ей захотелось ринуться в эту темную расселину, чтобы промчатся насквозь и вылететь с другой стороны, подобно птице на легких, но сильных крыльях.

Она побежала по булыжнику, перепрыгивая через разбитые горшки, сломанные ящики, осколки посуды, через нечистоты, через дымящиеся кучи тряпья, но в конце улицы стоял железный звон: стражник огромный, бочкообразный, самовароподобный, закрыл собою выход, положив суставчатую руку на крышу башни. Тогда она обернулась — улица мгновенно умылась дождем, блестел булыжник, из ниши торчали ботинки Марвича, в глубине тепли-

лась его сигарета. Был десятый час, где-то вблизи пело радио, доносились гудки из порта. Марвич вылез чумазый и смешной. Они взялись за руки и легко побежали по улице своих юношеских химер, по блаженной памяти улице Лабораториум, на вокзал за билетами.

В зале послышался смех, взлетели легкомысленные аплодисменты.

— Смеются, — шепнул автор. — Смеются там, где надо.

Таня посмотрела вдоль ряда. Вся их группа сидела с блаженными улыбками. Это уж всегда так: как бы ни собачились в ходе производства, к концу картины вся группа убеждена в том, что сделан шедевр. К тому же у всех приятные воспоминания о натурных съемках, о том городе.

Кстати, вот ей-то и не надо было бы снова смотреть этот фильм, особенно сегодня. Письмо и этот фильм — слишком много для одного вечера.

«Что делать?» — подумала она, когда увидела в массовке, в толпе прохожих длинную шею и собачью улыбку Кянукука.

Он очень гордился тогда — ему дали проход. Он вел под руку даму и комично вихлялся. Вечером только и разговоров было, что о дебюте «полковника» в кино. Все советовали ему, как перевоплощаться. «Ты похож на Бельмондо», — говорили ему, и он тут же, отвечая на такое внимание к его особе, разыграл сцену из гангстерского фильма. В общем смеху было много.

«Постоянно мы над ним смеялись, бесконечно, утомительно. К концу это превратилось уже в скучное издевательство. Естественно, считалось, что он

все снесет, не обидится, а он вот не снес. Может быть, письма Марвича подняли в нем мятеж? Марвич над ним не смеялся».

«Витька, — писал он ему, — ты странная личность. Таким, как ты, я был в семнадцать лет. Где тебя консервировали, мил-человек? Мне кажется, что у тебя и девушки-то не было никогда, одни фантазии. Напиши мне обо всем, не бойся откровенности и перестань, пожалуйста, нести такую дичь про Лилиан. Если она действительно существует, то зачем ты тогда треплешься о ней перед всякими подонками? Мне кажется, что я сделал ошибку, не взяв тебя тогда с собой. Надо было схватить тебя за шиворот и втащить в вагон. Впрочем, это еще поправимо. Осенью мы с Сережей отправимся в далекий путь, и если ты не балда и не окончательный шут, то поедешь вместе с нами. Сережа тебя сделает человеком. Знаешь песню: «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы»? Может быть, это романтика и не чистой воды, но на меня она действует, потому что я сам истер по этим деревянным тротуарам не одну пару подметок.

Теперь скажи мне, друг, пожалуйста, такое: ты что, влюблен в Таню? Только честно, без балды. Если это так, то я тебе по-настоящему, без всякого юмора сочувствую, потому что она моя от начала и до конца и, что бы с ней ни случилось, в конечном счете она будет со мной. Что бы ни случилось! Да с ней и не случится ничего, ничего к ней не пристанет.

Итак, жму лапу. Пожалуйста, не финти и сообщи, нужны ли деньги. Привет Лилиан. Обнимаю. В а л е н т и н».

Были и другие письма, шуточные и дурашливые, но это, наверное, было главное и последнее. Ответить на него Кянукук уже не успел.

Тут она вспомнила, как неслыханно возмутила ее уже сама мысль, что Кянукук влюблен. В тот вечер он пригласил ее в ресторан. Для него, видно, это был какой-то особенный вечер.

«Эх ты, — подумала она о себе, — дрянь ты порядочная, не дала мальчику даже возможности по-вздыхать. Ведь он не домогался тебя, как иные, и ни одного сального взгляда не бросил. Он жаждал лишь меланхолии, но у тебя уже был рыцарь, Олег, сильная личность. Тебе уже грезилась большая любовная биография, «чтобы на старости лет было что вспомнить». Хорошее, должно быть, это утешение на старости лет. А в самом деле, что утешит нас на старости лет?..

Вот здесь я ничего играю, сносно. Правильно двигаюсь. Все равно я стану актрисой, не такая уж я бездарь».

Фильм, благополучно перевалив через кульминацию, благополучно катился к концу. Подчищались всякие неувязочки, все постепенно выяснялось и обосновывалось, осуществлялся важнейший закон искусства — все «ружья» палили со страшной силой. В конце сквозила естественная лирическая недоговоренность. Все было в порядочке, и все остались довольны: простодушная публика была растрогана, профессионалы оценили умелую режиссуру и операторскую работу, снобам осталось много поводов для насмешек. Загорелся свет, грянули аплодисменты.

В фойе и во всех других помещениях установилось оживленное приподнятое брожение. Пространст-

ва для перебежек не было никакого, и поэтому кучки и отдельные люди двигались хаотически, сплетаясь в случайные клубки, расходясь, вежливо толкаясь, покачиваясь и словно подчиняясь какой-то неслышной музыке. Во всяком случае, это было увлекательное дело и никто не торопился уходить.

Таня тоже двигалась неизвестно куда, вместе с Павликом, Кольчугиным, Потаниным и другими, теряя их по одному, отвечая на поцелуи и рукопожатия, пока не осталась вдруг одна.

Вокруг стояли незнакомые люди. Они, конечно, поглядывали на нее как на героиню вечера, но обраться не решались.

«Как странно, — усмехнулась Таня, — никто меня не беспокоит, никто не предлагает дружбу».

Она вынула из сумочки сигарету и закурила. Толпа вокруг медленно колыхалась, перемещаясь.

— ...я не знаю, может быть, я примитив, но мне понравилось.

— Простите, это уже не тот уровень разговора. Что значит понравилось или не понравилось?

— ...слабости очевидны...

— ...но и достоинства...

— А кто же спорит?

— Вы сами сказали, что...

— ...кассовый успех...

— ...что же плохого...

— ...очаровательно, очень мило...

— ...надоело про молодежь...

— ...Калиновская очень хороша...

— ...все мы слишком снисходительны...

— ...жестокость такого рода...

— ...правда характеров...

- ...снят только верхний слой...
- Бросьте мудрствовать лукаво!
- В конечном счете не все ли равно?
- Вы видели «Крик»?
- А ты чего молчишь?
- Буфет еще работает?
- Старик, познакомь с Калиновской.
- ...стряхнуть пыль с ушей!
- ...где уж нам, дуракам, чай пить...
- ...мелодию запомнили?
- ...ту-ра-ру-ра...Так?
- ...молодежь, понимаете, молодежь...
- Я-то читал. А ты-то читал?
- Простите, костюмчик этот не в Париже ли брали?
- В Париже.
- Не в «Самаритэн» ли?
- В «Галери де Лафайет».
- Угу, спасибо.
- ...а мы совсем замотались, натуру пропустили, главк рвет и мечет...
- ...я вам говорил, дорогой, слушались бы старика...
- ...он очень талантлив, очень...
- ...этот?
- Этот не очень.
- А тот?
- Это сволочь!
- Тише!
- Я вам говорю, Марцинович сволочь...
- ...пора уже о праздниках...
- ...шьете что-нибудь?
- Что нового?

- Слава богу, ничего.
- ...я бы иначе...
- ...вы бы, конечно...
- ...кто это, кто это?
- ...вы, старик, еще молоды...
- ...молодежь, молодежь...
- А что Боровский?
- Боровский в Индии.
- А Фролов?
- В Бирме.
- А Лунц?
- В Непале.
- Кто же будет кино снимать?
- Кина не будет.
- ...ха-ха-ха... остроумный черт...
- ...иди-ка сюда, иди-ка...
- ...дай я тебя поцелую...
- ...видали мы таких...
- ...друзья, товарищи, братья...

У Тани закружилась голова. Тут как раз ее обнаружили, и снова начались поздравления, поцелуи, ее потащили куда-то — естественно, в ресторан. Нужно было пить шампанское, смеяться, изображать счастливую улыбку. По дороге к ресторану ее ухватила под руку высокая критикесса в новомодном седом парике.

— Уверяю вас, — энергично говорила она, — в ближайшие годы ваш талант заблещет новыми гранями. Мне кажется, что вы не просто красоточка — вы значительная личность. Я уверена. Печаль человеческого сердца вам доступна. Я хотела бы о многом поговорить с вами. Ну, что там хитрить — я предлагаю вам дружбу. Идет?

Пробежал сияющий Павлик, махнул рукой — сю-

да, друзья, сюда! Они сдвинули несколько столиков, Кольчугин собрал деньги. Кто выложил трешку, а кто и десятку. Кольчугин надел очки и строго продиктовал официантке заказ.

Сегодня все шумели, всех охватило желание настезь распахнуть души, объясниться друг другу в любви, выяснить все недоразумения и весело пить — мы это заслужили!

Только Тане хотелось остаться одной и уйти в переулки, где начиналось весеннее поскрипыванье дверей и ошалелые мальчишки уже заступали на полуночную вахту у ворот, уйти, и тихо бродить, и все решить за какой-нибудь час.

Бочком, смущаясь, подошли родители.

— Танюша, мы домой. Поздравляем тебя, родная, поздравляем. Тебя проводят?

— Что пишет Валентин? — тихо спросила мама.

Таня посмотрела на нее.

— Приглашает к себе.

— Поедешь?

— Конечно, поеду.

Мать побледнела и закусила губу.

— Когда? — спросил отец.

— Не знаю.

Родители ушли.

Таня старалась веселиться, не хотелось огорчать товарищей. Шумный и беспорядочный пир подходил уже к полуночи, смешались салаты и закуски, тосты и объятия, кое-кто стал уже уходить, когда к Тане подошел Олег.

Люди, знакомые с ним по Прибалтике, стали шумно звать его к столу, но он только поклонился

довольно церемонно и попросил Таню отойти с ним на несколько минут — ему нужно поговорить с ней.

— Пойдем, — сказала она и быстро прошла через ресторан, через фойе, спустилась в гардероб и взяла свое пальто.

Они вышли на улицу и медленно пошли к площади Восстания. Гигантский высотный чертог закрывал полнеба. На фасаде его одно за другим гасли окна, образуя неясный темный пунктир. Большая полная луна, словно скатившаяся с роскошного шпиля здания, беспомощно висела поодаль. По Садовому кольцу медленно двигался гигантский междугородный тралер. Все предметы были крупны и отчетливы в эту ночь.

— Что же ты молчишь? — спросила Таня.

— Трудно, — проговорил Олег.

— Как дела-то вообще? — бездушно спросила она.

— Разве это тебя интересует? — сказал он. — Ну, защитил диплом.

— А как твои друзья?

— Какие друзья?

— Как какие? Эдуард, Миша, верные твои друзья, соратники...

— Не иронизируй. На что мне эти подонки? Я ведь стал старше...

Они свернули на Садовое. На мостовую то и дело выбегали люди, пытающиеся поймать такси. Впереди, обнявшись, шла парочка, спокойно, как в лесу, она шествовала и пела: «На меня надвигается по реке битый лед, на реке навигация, на реке пароход...» Девушка фальшивила.

— «Пароход белый-беленький», — машинально запела и Таня, но тут же оборвала песню. — Значит, стал старше, умнее, строже?

— Вот что, — надменно сказал Олег, — давай закончим этот треп. Я хотел тебе сказать... Тогда я унился перед тобой там, в парке.. Ну, считай, что этого не было. Я тебя выбросил из головы.

— Вот и прекрасно, — сказала Таня. — Bravo!

— Столько девчонок вокруг, а я унижался перед какой-то дурочкой, — он укоризненно покачал головой.

— Да брось ты! Ведь договорились же, что этого не было. Ничего у нас с тобой не было.

Она покосилась на него и вдруг заметила, как резко и жестоко изменилось его лицо. Он схватил ее за руку.

— Дурак я, интеллигентик! Зря я возился тогда с тобой. Сейчас бы бегала за мной.

— Сейчас милиционера позову, — тихо сказала Таня.

— Дура! — Он отпустил ее руку. — Прощай!

Через минуту он догнал ее на такси. Такси поехало вдоль обочины тротуара вровень с Таниными шагами. Олег спустил стекло и высунулся.

— Подвезти?

— Мне здесь два шага.

— Давай по-умному, — сказал Олег, — ведь мы же взрослые люди... Зачем ругаться?

— Может быть, ты хочешь предложить мне дружбу? — любезно осведомилась Таня и свернула в переулок.

Такси взревело и устремилось по диагонали к осевой линии.

Таня сразу забыла про этот разговор. Дом ее был

уже рядом, и она побежала, отстукивая каблучками, чуть задыхаясь от ветра и пригибаясь; прошла сквозь строй хихикающих мальчишек, смело — через проходной двор, под долгий свист загулявшего молодца, мимо тенькающих слабыми ночными звуками окон; вышла на тихий свой московский угол, где Валька когда-то провел столько часов, околавываясь возле ее подъезда.

Дома не спали, ждали ее. Началось обсуждение премьеры. Отец сказал, что фильм подкупил его своей чистотой и благородной идеей. Точно сформулировать идею он не смог. Мама сказала, что воспитательное значение... Затем прочла перечень телефонных звонков за день. Звонили с «Ленфильма», приглашали приехать на пробы, звонили с Киевской студии, звонил корреспондент журнала «Панорама полночи» (Гданьск), кроме того, звонили Толя, Илья, Петя и Люба.

Когда родители уже легли, Таня тихонько вошла в их комнату и потянулась к книжным стеллажам.

— Ты чего, мышь? — пробормотал отец.

— Книгу взять.

— Какую?

— Какую-нибудь. Стихи.

— Блок справа, на третьей полке.

С томиком Блока она вошла к себе, раскрыла и прочла:

О весна без конца и без края,
Без конца и без края мечта!
Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита!

Она сбросила туфли и погасила свет. Ночная комната сразу увеличилась в размерах. Призраки, плос-

кие и объемные, тихо зашелестели, начиная свою простую беззлобную жизнь. Таня встала на подоконник и просунула голову в форточку, обозревая видимый отсюда мир.

Тяжелый греческий профиль кариатиды скрывал от нее луну. Нежная грудь кариатиды, заляпанная голубями, серебрилась лунным светом, и серебрился мощный живот. Внизу светился пустой асфальт. По нему, посвистывая, прошел к телефонной будке гуляка, милый и бесхарактерный человек. Был виден кусочек пруда, дымная вода. Плыл замызганный лебедь, дергаясь и выщипывая блох. В темном огне аптеки под маленькой лампой белел колпак дежурного фармацевта. Медленно проехал хлебный фургон.

Таня захлопнула форточку и бросилась на кровать, обхватила голову руками, смиряя гул в голове и гул во всем теле, смиряя свою тоску и радость, вытесняя лица, и свет, и голоса, объявляя перерыв, перемирие, антракт, заснула.

2. В апреле фильм вышел на экраны. Большинство газет расхвалило его, «серьезные» журналы высказались неопределенно, знатоки отзывались иронически, широким массам фильм нравился.

Горяев, автор сценария, вздохнул спокойнее, зимние его дела успешно завершились: картина закончена, сборник рассказов сдан в издательство, новая повесть в молодежном журнале шла под всеми парусами. Он почувствовал полную освобожденность, уловил запах весны и отправился в закусочную «Эльбрус».

В закусочной он встретил Бессарабского, заведующую

щего отделом крупной газеты. Бессарабский был высок, он возвышался над дымящимися горшочками и молодыми людьми, любителями кавказской кухни, и махал Горяеву: иди сюда!

Горяев пошел к нему с неохотой: с Бессарабским надо было целоваться. Есть такие люди, что лезут к тебе целоваться всякий раз, хотя и встречаешься ты с ними не меньше трех раз в неделю.

Так и в этот день — Бессарабский поцеловал Горяева. Потом все было ничего, после поцелуя с Бессарабским можно было разговаривать, как с нормальным человеком, и Горяев с удовольствием поведал ему о том чувстве полной освобожденности, которое он сейчас испытывал, о том, как хорошо направлять свои стопы туда, куда тебе хочется в данную секунду, и не думать об обязательствах, не суетиться, не впадать в панику.

— А почему бы тебе не съездить в командировку от нашей газеты? — сказал Бессарабский. — Общнись, старик, с народом.

Он назвал новую стройку на большой сибирской реке и сказал, что нужен репортаж с этой стройки, «крепкий писательский репортаж» о земле, о людях — в общем о борьбе, как ты сам понимаешь».

Горяев тут же согласился. Зимнее сидение в Москве успело ему надоесть. Он не мог долго находиться в этом городе, хотя и начинал по нему скучать сразу по прибытии в любое другое место земного шара, будь то внутри страны или за границей.

Они расстались с Бессарабским возле «Эльбруса», договорившись встретиться завтра в редакции для оформления командировки.

Горяев медленно пошел по направлению к Арба-

ту. Он брел спокойно и безмятежно под сильным ветром, полным весенних прихотей и надежд.

День был пасмурный. Качались голые пока ветви Тверского бульвара. У Никитских ворот, среди торгующих киосков и тележек, на этом уютном московском перекрестке он встретил Таню Калиновскую, героиню своего фильма. При всех своих случайных встречах с ней он вспоминал прошлое лето в маленьком прибалтийском городе, веселые и суматошные дни и неведомо почему грустный отъезд. Кроме того, встречая Таню, он всегда надеялся на какой-то счастливый случай, на неожиданный поворот, на романтическую встряску.

Они пошли вместе дальше к Арбату. Горяев рассказывал Тане о своих делах, о рецензиях на свои книги, об одном критике, который вечно его «долбает», говорил о том, что засиделся в Москве, что послезавтра летит в Сибирь.

Таня гордо шествовала рядом, лицо ее было непроницаемым, в нем чувствовалось вот что: «Не трогай, не приставай, проходи-ка своей дорогой».

— Куда ты летишь? — спросила она.

Он усмехнулся и назвал город, и конечный пункт перелета, и стройку — Березанский металлургический комбинат.

«Ишь ты, интересуется, — подумал он. — Как будто это название ей что-то говорит. Она об этой стройке и понятия не имеет. В самом деле, что знают московские девушки о крупных сибирских стройках? В лучшем случае слышали краем уха».

Таня остановилась и почему-то уставилась в небо. Несколько секунд она приводила в порядок свои волосы.

— Можно, я с тобой поеду? — спросила она.

Горяев засмеялся и осторожно похлопал ее по плечу.

— В самом деле, — резко сказала она. — У меня уйма времени и деньги есть, и мне тоже, знаешь, надоело здесь.

Через день они отправились в путь. Отправление было ночью из Внукова. Снова эти прекрасные минуты перед посадкой в огромный самолет, вращенье маленьких огоньков в черном небе, взвешиванье багажа, шутки транзитников, коньяк внизу, в буфете, лимон и по стакану боржоми, а девушке еще и конфетку, пожалуйста.

— Хорошая девушка.

— Не жалуюсь.

— Дорогой, продай плащ. Понимаешь, брату моему очень нужен такой плащ.

— Сочувствую твоему брату.

В полутемном салоне самолета, когда все уже перестали возиться, уселись и пристегнули ремни, Таня тихо сказала Горяеву:

— Пожалуйста, не строй никаких иллюзий. Ты понимаешь меня?

— Понимаю, — ответил он.

— Ну и прекрасно.

Она стала смотреть в окно.

— Больно нужно, — через минуту обиженно произнес Горяев.

Таня продолжала смотреть в окно. Как только самолет оторвался от земли, она откинула спинку кресла, прошептала: «Буду спать», — и заснула.

«Что ее понесло со мной? — думал Горяев, глядя на спящее ее лицо. — Эх, лучше бы мне поехать

в Ригу! В Риге сейчас уютно, и ребята, не сомневаюсь, встретили бы меня весело. Весело было бы и уютно. Что я, Сибири не знаю, что ли?»

Утром они увидели под собой леса, потом реку, и пароход на ней, и кое-где белые пятна, одинокие льдины, потом сразу возник хорошо расчерченный пригород, вот уже мелькнули на уровне крыла обшарпанные ели, потом аэродромные постройки; толчок — и самолет дико заревел, тормозя.

Они позавтракали в аэропорту, взяли такси (в очереди на такси Горяеву чуть было не наломали бока) и отправились на речную пристань, откуда, как им сказали, ходили катера в Березань.

Ну, на пристани дела были веселые! Грузился большой пароход, идущий вниз по реке, пассажиры топали сапогами, шумели, таскали мешки и малых детей. Скамейки все были заняты. Горяев с трудом нашел для Тани место на подоконнике, где и усадил ее. Возле окна прямо на полу, подстелив газетки, полулежала группа мужественных парней, они играли в карты. Молча они посмотрели на Таню и Горяева, а Таня вынула из сумки книжку и взялась читать ее.

О катерах в район строительства ничего особенного слышно не было. Должны были они пойти, обязательно пойдут, но расписание еще не установилось, и надо было, значит, тихонечко себе ждать и не очень-то вопить.

Горяев выбрался на нос дебаркадера и оттуда стал обозревать огромную эту серую холодно поблескивающую реку, дальний низкий берег с щетинкой леса и одинокими избами, важную льдину, похожую очертаниями на Южную Америку. Льдина направлялась прямо на дебаркадер. Блеснуло солнышко, вода

вокруг льдины стала голубой, а сама она чистой стала, белой недотрогой, стукнулась о нос дебаркадера и заерзала бестолково, как гусыня, а дебаркадер вдруг закачался, но не от льдины — это отчаливал, наконец, пароход в низовье.

Горяеву стало хорошо и привольно. Неурядицы с катерами не волновали бы его ничуть, если бы не Таня. Балда он, что взял на себя такую обузу. Если потакать всяким капризам этих московских кинодевушек, можно стать в конце концов... Кем он станет в конце концов, Горяев не придумал, но направился внутрь выяснить обстановку.

Обстановка была спокойной. Таня продолжала читать, а мужественные парни спокойно себе играли и только иногда косились на Танины ноги. Тогда Горяев позволил себе пройти в буфет, ему захотелось выпить.

В-буфете не нашлось ничего, кроме алычовой наливки. Он взял стакан этого напитка, а на закуску беляш, по твердости напоминающий крепенькую битку.

«Прекрасная у меня началась жизнь», — подумал он, отхлебывая алычовой, кусая беляш, мотая все себе на ус: буфет, крашенный в голубую речную краску, картину Левитана «Над вечным покоем», рядом часы-ходики, на редкость унылое лицо буфетчицы, все в сеточке мелких-мелких морщин, фигуры мужчин, стоящих у высоких столиков, их пальцы, несущие ко рту беляши и граненые стаканы, — все это он, что называется, «фиксировал в памяти».

Тут сзади тронули его за плечо. Он обернулся: парень в ватнике и морской фуражке выжидательно смотрел на него серыми глазами.

— Чего тебе, друг? — спросил Горяев.

— Доешь со мной торт, — попросил парень и показал глазами на торт в картонной коробке, который был перед ним на столе.

Торт средних размеров с розочками и бахромой был съеден на четверть, из него торчала столовая ложка.

— Понял? Взял торт, а одолеть не могу, — сказал парень. — Давай за компанию.

Сердце Горяева заняло от восторга. Он сбегал за ложкой, взял столовую, хотя и чайные попадались в судке, и стал есть вместе с парнем прямо из коробки.

Парень ел уже очень лениво, превозмогал себя.

— Жутко сладкая вещичка, — говорил он. — Посмотришь — слюнки текут, а как начнешь — на седлку тянет. Даже на консервы, черт бы их побрал.

— Ничего, справимся, — подбадривал его Горяев. — Алычовой хочешь?

— Приму, — ответил парень и цепко осмотрел Горяева. — Москвич, точно?

— Угадал. Часом, не слышал, друг, когда катера на строительство пойдут?

— Катера-то? — усмехнулся парень. — Это, старик, дело темное. Давай познакомимся сперва. Югов Сергей.

— Горяев, — представился Горяев и добавил: — Юра.

Они пожали друг другу руки.

— Вот что, Юра, — таинственно сказал Сергей. — Слушай меня. Есть у меня энская плавединица, понял? Я на ней моторист. Так вот, я сейчас поеду в затон, а в двенадцать ноль-ноль мы подойдем к де-

баркадеру на одну секунду. Специально за тобой, понял? А рейсового катера не жди — затолкают.

— Вас понял, — улыбнулся Горяев.

Снова они взялись за торт, но одолеть оставшуюся четвертушку никак не могли.

— Только я не один, Сережа, — сказал Горяев. — Девушка там у меня в зале ожидания.

— Девушка? — Сергей задумался и почесал подбородок. — Может, поможет нам она?

Он показал на торт, но Горяев засмеялся, сказал, что вряд ли. Они бросили ложки и пошли к выходу. Возле дверей Сергей Югов поднял с пола тяжелый рюкзак и взвалил его на плечо.

— Где твоя девушка? — спросил он в зале ожидания.

Горяев показал на Таню, которая уже не читала, а задумчиво глядела в окно.

— Вот эта? — Сергей взглянул на Таню и пошел к выходу на берег.

— Значит, в двенадцать ноль-ноль! — крикнул он Горяеву, обернувшись.

Горяев подошел к Тане и рассказал ей о новом своем знакомом и его обещании подбросить их до строительства.

3. Честно говоря, немного подташнивало меня от этого проклятого торта, а иной раз, извини, и отрыжка появлялась прогорклым маслом. Я дошел до палатки, взял пачку «Луча» и стал курить, чтобы отбить этот вкус. Вообще-то я не курю, разве что когда выпьешь с товарищем, стрельнешь у него одну другую папироску, чтобы разговор лучше шел.

Так вот, дымя «Лучом», я и отправился к автобусной остановке. На остановке под навесом сидели женщины-матери, а на стенке висел плакат, синий такой, и дохлая кобыла на нем нарисована. Гласил плакат о том, какое количество никотина убивает наповал лошадь. Вроде бы, значит, тонкий намек на толстые обстоятельства — раз, мол, лошади столько надо, чтобы окачуриться, то человеку и того меньше. Вообще-то не додумал художник: лошадь к никотину непривычная, а люди есть такие, что дымят без остановки, как буксиры-угольщики.

Рядом с этим зловредным плакатом висело объявление об оргнаборе рабочей силы на Таймыр. Требовались там и механики и мотористы — в общем и мне бы нашлась на Таймыре работенка. Вот дела, везде эти объявления висят, куда ни приедешь. Помню, в Пярну мы с Валькой Марвичем прочли объявление о наборе сюда, а здесь, оказывается, уже и на Таймыр ребят набирают. Чего-чего, а работы у нас хватает.

А может, в самом деле на Таймыр отсюда махнуть? Достроим здесь заводик, можно и туда податься. Полярные надбавки — это дело, да и посмотреть на те места соблазнительно.

На шоссе здесь, у них, в областном центре, непорядок, грязь и колдобины. Неужели грейдером нельзя пройтись? У нас, в Березани, и то чище, хоть там и самосвалы двадцатипятитонные по шоссе гоняют.

Появился автобус, весь заляпанный и тихий. Видно, остерегался шофер в кювет посадить пассажиров.

Погрузился я в автобус со своей олифой и доехал до остановки Васильевский затон. От остановки до затона — путь мне через лес.

Что я люблю — это ходить через лес. Приятно было идти по дороге, хоть лес здесь и не такой, как в Ярославской области, откуда я родом, не такой веселый. В здешних лесах больше мрачности, особенно по такой-то погоде.

Тут — как будто маслом по сердцу — выглянуло солнышко. Осины слева задрожали, а елки справа стоят важные и неподвижные. Лужи стали голубыми, и кукушка в чаще квакнула пару раз. Сколько жить мне еще на нашей мирной планете?

— Ну-ка, старая ведьма, начинай отсчет! — крикнул я кукушке.

А она, зараза: «ку-ку, ку-ку» — и молчок. Два года всего, значит. Это меня не устраивает.

— Давай сначала, — крикнул я.

«Ку-ку, ку-ку» — и снова молчок. Опять два раза. Может быть, война через два года налетит, и я, значит, того... смертью храбрых под каким-нибудь «Полярисом»?

Я прямо зажмурился, когда вообразил, как начнутся подводные залпы ракетами, как они начнут нас долбать, а мы их двойным ударом, веселые будут дела! А мне надо дочку еще воспитывать, в детсад ее по утрам водить, и пацана хочу занять; заводило это не раньше чем через год достроим, а на Таймыре дел тоже невпроворот — ну, уж фигу вам с маслом!

— Давай сначала! — заорал я опять кукушке, этой старой лесной дешевке, которой самой-то небось не меньше ста лет, которая небось видела здесь черт те что, партизан, наверно, видела и колчаковских белогвардейцев, да еще собирается небось пожить сотняшку-другую.

Ну, тут она испугалась, наладилась, начала работать на полных оборотах. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку...» Уже за двадцать перевалила; дочка моя на третий курс перешла в Московском государственном университете, а пацаненок экзамены сдает на аттестат зрелости, грубит уже мне, щенок, на девчонок стал заглядываться...

— Давай, давай! — крикнул я старой птице. — Мотай дальше!

Пока из леса вышел, со счета сбился. Вроде на восьмой десяток перевалило. Хватит, старой калошей шлепать тоже неинтересно. Собирайте гроши на поминки, чтоб все было как у людей. Поплачьте малость, это невредно. Умолкла. Нашли мы с ней контакт. Плачьте, мои товарищи, старые хрычи, это невредно. А впрочем, может, еще десятку добавить?

— Ну-ка, давай! — сказал я тихо, и она мне еще десятку отстучала, порядок.

Я посмотрел с бугра вниз на затон и увидел, что катер наш «Балтика», 0-138, в полном порядке, стоит себе среди разного деревянного и ржавого железного хлама. Мухин и Сизый заметили меня на бугре и стали руками махать: быстрее, мол. Мухин, капитан наш, старый морячина, тоже балтийский, а Сизый, матрос, молодой местный пижон.

Всю осень и зиму, как приехали мы сюда с Валькой Марвичем, мы втроем отремонтировали этот катер, можно сказать, строили его заново: мотор перебрали, обшивку даже клепали и варили заново. Ничего, не обижало нас начальство — оклады дали по летнему тарифу, по навигационному, и премиальные спускали, по полторы сотни выходило чистых. Сизому, понятно, меньше, как неквалифицированному пижону.

И вот сейчас катер наш был на плаву, мощненький такой, осталось только его покрасить. За олифой я и ездил на пристань.

— Олифу достал? — спросил Мухин.

— За кого вы меня принимаете, товарищ Мухин? — сказал я. — Югов сказал: достану — значит, достанет.

— Значит, покрасим? — смекнул Сизый.

— Верно ты сообразил, — говорю ему. — Значит, покрасим.

— Давай заводи свой патефон, — буркнул Мухин.

Я полез в свое отделение, запустил машину. Все у меня было в порядке, прямо сердце радовалось.

Побежала наша «Балтика» по сибирской реке. Я поднялся наверх и зашел в рубку к Мухину.

— Мухин, — говорю ему, — подойди на секунду к дебаркадеру.

— Нет уж, — отвечает Мухин, — там эта публичка навалится, а у нас груз.

— Тихонько подойди. Кореша одного надо прихватить с женой.

— Ладно, — говорит Мухин. — Только на айн момент.

Когда появился перед нами голубой дебаркадер, я посмотрел на часы. Точно подходили, как я и обещал Юрке Горяеву, точно в двенадцать ноль-ноль.

Юра и девушка эта самая стояли на палубе дебаркадера ближе к корме и всматривались в нас. Я махнул им.

Когда подошли, Юрка тотчас же бросил на палубу свой чемодан и девчонка свой тоже бросила. И оба прыгнули к нам. Неплохо это было сделано. Мы сразу же отвалили, публика только заорать успела.

— Знакомьтесь, — сказал Юра.

— Очень приятно, Таня, — сказала девчонка и руку мне протянула.

— Югов Сергей Иванович, — сказал я, нахмурился.

Всегда я хмурюсь, когда с красивой девчонкой знакомлюсь, не пойму отчего. По отчеству себя величаю, пень.

— Вот это чувиха! — шепчет мне Сизый.

— Не шепчи! — тихо рявкнул я на него и полез зачем-то в свой отсек.

Клапана мне надо было посмотреть, вот зачем полез. Покрутился я с клапанами этими пяток минут — и опять наверх. Нужно мне было рассмотреть эту Таню как следует. Гляжу. Сизый уже с ней сидит, травит ей потихонечку.

— Я, знаете ли, стремлюсь к повышению, — говорит Сизый. — Заочно учусь в Ленинградском кораблестроительном. Конечно, трудно сочетать. А еще и спорт. Я, Таня, борьбой занимаюсь...

Я присел рядом, позади них, и слушаю. Очень интересуют меня люди, которых, грубо говоря, хвастунами можно назвать. Все с них как с гуся вода.

Что такое хвастовство? Удовольствие оно доставляет человеку. Я вот не умею хвастать и часто думаю, что зря. Хвастовство не влечет за собой никаких неприятных последствий.

Помню, на эсминце, когда спартакиада флота началась, записывается к нам на боксерское соревнование один старший матрос. Я его спрашиваю (при ребятах, заметь): «Какой у тебя разряд, старший матрос?» А он отвечает нехотя так: да так, мол, на первый работаю... Ну, думаю, дела! Стали мы с ним

работать, смотрю, прет старший матрос, как бык, и руками машет, не тянут. Сильно ему тогда от меня досталось, и ребята смеялись, а все ничего, не убавилось его, старшего матроса, от этих насмешек.

Так и Сизого не убавится, когда Таня узнает, какой он на самом деле заочник и борец. Каким был местным неквалифицированным пижоном, таким он и останется. «Чувак», «чувиха» — весь разговор.

Так, Таня встает и идет на нос, где Юра стоит один. Юбка у нее полощется на ветру, коленки светятся, прямо хоть зажмурься, и волосы разлетаются. Улыбнулась мне. В общем-то она, должно быть, хорошая девчонка. Не просто фифа из Москвы, а с характером и с печалью. Пошел я за ней, и стали мы втроем стоять на носу. Стояли, помалкивали, а ветер по нас хлестал. Дружно это как-то было, очень хорошо, будто мы старые друзья с Таней и Юрой, будто детство вместе провели.

— Шли бы вниз, в каюту, — сказал я им потом. — Нам ходу пять часов. Поспите.

— А вы местный, Сережа? — спросила Таня.

— Нет, я с Балтики, — говорю, — осенью только завербовался в Березань на строительство.

— Что же вас сюда потянуло?

— Да так, — говорю, — надумали мы с одним дружкой поехать, вот и поехали.

— А кем вы на Балтике были?

«Может, прихвастнуть? — подумал я. — Убавится, что ли меня? А ей интереснее будет». Но не решился.

— Механиком работал по дизелям, — сказал я.

— А в каком вы городе жили? — спросила она.

— В Пярну жил последний год.

— А-а, — протянула она и внимательно посмотрела на меня искоса.

И тут меня словно ожгло. Поплыли, полетели на меня воспоминания прошлого года, потому что повернулась она ко мне тем же ракурсом, что и на фотооткрытке. Я вспомнил, в каком виде ввалился тогда ко мне Валька Марвич и как мы с ним ушли на море и там сидели под ветром, хлюпали папиросками, а он мне фотооткрытку эту показывал и что-то неясное толковал о ней, об этой Тане, и о себе, и о каких-то других людях, о людях вообще. А потом ночью мы лежали с Тамаркой и слушали, как он ворочается на раскладушке, молчали, не мешали ему переживать. А также вспомнил наши решительные прогулки в толпе курортников по вечерам, сто грамм с прицепом; хватит или добавим, давай добавим, давай куда-нибудь поедем, у меня специальность хорошая, флоту спасибо, жена твоя будет грустить, ну, погрустит и перестанет, я тебя что-то не пойму, тогда давай еще; а уже было закрыто и не пускали никуда. Да это точно она, Татьяна!

— А вы кто будете? — спросил я для проверки.

— Я в кино снимаюсь. Актриса, — говорит она.

— Идите вниз, Таня, — сказал я. — Отдохните.

— Ага, — сказала она и дернула Юру за рукав. — Пойдем.

Я за Таней пошел, а Юра Горяев с другого борта. Смотрю, Мухин мне подмигивает на Таню и большой палец показывает, а потом на Юру презрительно машет — это, мол, ерунда, не соперник, мол, тебе, Югов, а так, только место в пространстве занимает. Если бы знал Мухин, кого мы везем...

И вообще он это зря, Мухин. Я не из таких.

Есть жена — и ладно, а крановщица Маша — это так, с кем не бывает.

Бывает со всяким. С Мухиным такое бывает чаще, чем со всяким. Мухин баб не жалеет, потому что от него в свое время невеста отказалась.

Он очень правильный мужик, Мухин, скажу я тебе! Он мне раз такое из своей жизни рассказывал, что не во всякой книжке прочтешь.

Служил наш Мухин во время войны на подводной лодке, и накрыл их «юнкерс» своими бомбами. Лодка лежит на грунте с распоротым пузом, всем в общем пришла хана, только Мухин и раненый торпедист в одном отсеке жить остались. Это где-то возле Клайпеды было в сорок первом. В общем представь себе, в крошечной темноте с раненым торпедистом. Дышать почти нечем, спички еле горят из-за недостатка кислорода. Часов через несколько Мухин взял буюк, вылез через торпедный аппарат и выплыл на поверхность. А ночь уже была. Поставил Мухин буюк над этим местом и поплыл куда-то вольным стилем, может, в Швецию, может, в Финляндию, а может, к своим. К своим попал. В пяти километрах на песчаной банке рота наша стояла из последних сил. Думаешь, товарища бросил Мухин? Ну, нет! Взяли они шлюпку и пошли в темном море буюк искать. Еле нашли. Мухин нырять стал — не пехотинцам же нырять? А буюк-то, оказывается, отнесло, раз пять Мухин нырял, пока лодку нашел. Влез туда, на старое место; в гроб, можно сказать, снова влез и вытащил торпедиста на поверхность. «Просто, — говорит, — Сережка, на чистой злобе работал, сил не было никаких».

Все же умер торпедист, а Мухин в плен попал на

той банке. Потом в концлагере сидел в Норвегии. Убежал оттуда, с партизанами гулял. А после войны в нашем проверочном лагере сидел. Культ личности был, понял? Выпустить-то выпустили Мухина из лагеря, но только определили в спецконтингент.

Когда Сталин помер, проверять стали, что к чему, почему столько народу в лагеря зачихали бериевские элементы. Реабилитировали Мухина и даже орден ему дали, в газетах о нем стали писать. Сам вырезки видел. Мухин тебе не Сизый, трепать не будет. Спокойный он мужик и деловой, только вот бабам простить никак не может. А зря, женщина женщине рознь.

Итак, пришли мы к Березани спокойно и вовремя, ошвартовались. Спустился я в каюту и разбудил наших пассажиров. Проводил их до Дома приезжих. Поднес Тане чемодан.

— До завтра, — сказал я им. — Завтра загляну к вам с утра.

После этого отправился домой. Иду по шоссе, от «МАЗов», как заяц, отпрыгиваю. Купил в автолавке булку черного хлеба, консервы «Бобы со свиной» и мармелад к чаю. На двоих будет в самый раз поужинать. Иду и все думаю о Вальке и о Тане. Не хорошо у них получается, непорядок.

Вижу, догоняет меня он сам, Валька Марвич, на своем колесном тракторе. Восседает на нем, как падишах. Сел я с ним рядом. Поехали. Все быстрее, чем пешком. Позади у Вальки ковш болтается полукубовый, а впереди бульдозерная лопата на весу. Знаешь эти хитрые тракторы «Беларусь»? Тут тебе и экскаватор, тут тебе и бульдозер, и тяговая сила опять же.

— Устал, — говорит Марвич. — А ты?

— А мне-то что? — ответил я. — Прогулку совершил по реке на легком катере, вот и все. Пассажиров привезли.

— А я устал, — говорит Марвич. — Устал, как лошадь. Как скот последний.

— Слушай, Валя, — сказал я ему, — ты не особенно переживай, но похоже на то, что жена твоя сюда прибыла с нашим катером.

Он только кашлянул и поехал дальше молча. Я смотрю: он потом весь покрылся, мелкими каплями.

— Шуточки такого рода, — говорит он через минутку, — раньше не свойственны были тебе, Сергей. И газу, газу дает, балда.

— Я не шучу, — сказал я. — Таня, киноартистка, и на карточку похожа. С парнем одним она сюда приехала, с Юрой Горяевым. Только не жена она ему, это видно, и даже не крутят они любовь — это факт. Это твоя жена, друг.

4. — Что же, ты думаешь, ради меня она сюда приехала? — спрашивает Марвич.

— Зачем ради тебя? — успокоил я его. — Приехала она сюда ради меня или, может, ради нашего матроса Сизого, но уж не ради тебя, конечно.

— Боже мой, сколько иронии! — засмеялся Валька.

Мы лежали на койках в нашем вагончике и ждали, когда нагреются бобы. Керосинка стояла на полу возле двери, светились желтым огнем ее щелки и слюдяное окошечко. В вагончике было темно, толь-

ко керосинка светилась, да в углу мокрый мой тельник висел на веревке, подвешенный за рукава. Как будто матрос высокого роста стоял в углу с поднятыми руками. Лампочку мы не зажигали, почему-то не хотелось. Лежали себе на койках, тихо разговаривали. Валька курил, а я мармелад убирал одну штучку за другой.

Вагончик этот мы захватили еще осенью, как говорил Марвич, «явочным порядком». Поселились в нем — и все. Сами утеплили его и перезимовали за милую душу. Тамарка, жена моя, прислала нам занавесочки вышитые, скатерку, клеенку, прочие там фигли-мигли, а Валька к Новому году купил здоровый приемник «Рига». В общем комфортабельная получилась халупа. Ребята из общежития нам завидовали. Экспресс «Ни с места» — так мы свою хату называли. Обещают нам к лету койки в каменном доме выделить, так просто жалко будет уходить, хоть там и галльон будет теплый, и душевая, и сушилка.

Валька включил приемник, нашел Москву.

— Передаем концерт легкой инструментальной музыки, — сказала дикторша.

Музыка действительно была легкая, ничего себе музыка. Индикатор глазел на нас с Валькой, будто удивлялся: то расширялся, то суживался. Бобы начали бурлить.

— А не веришь, сходи к Дому приезжих, — сказал я.

Валька встал и надел свою кожаную куртку, кепку нахлобучил и в зеркало посмотрелся.

— Поешь сперва, — сказал я. — Готово уже.

Но он молча выскочил из вагончика. Я посмотрел в окошко. Он прыгнул через кювет и запрыгал по

шоссе через лужи, потом опять через кювет и побежал, замелькала его черная тень, скрылась за ближним баракком.

Мы с Валькой случайно подружились еще в Эстонии, в каком-то буфете скинулись на «маленькую». Бывает же так, а! Скоро год уже, как мы с ним вовсе не расстаемся: он мне стал как самый лучший кореш, как будто мы с ним съели пуд соли вместе, как будто плавали на одном суденышке и на дне вместе отсиживались в темном отсеке под глубинными бомбами; стали мы с ним как братья, хоть у нас и разница в образовании.

Валя такой человек — скажешь ему: «Давай сходим туда-то», он говорит: «Давай сходим». Скажешь ему: «Давай выпьем, а?», а он: «А почему же нет? Конечно, выпьем». — «А может, не стоит?» — «Да, пожалуй, не стоит», — говорит он. Вот какой человек.

Но, конечно, и он не без заскоков: пишет рассказы. Надо сказать, рассказы его мне сильно нравятся. Там такие у него люди, будто очень знакомые.

Вот такое ощущение, знаешь: скажем, в поезде ты или в самолете поболтал с каким-нибудь мужиком, а потом судьба развела вас на разные меридианы; тебе, конечно, досадно — где теперь этот мужик, может, его и не было совсем; и вдруг в Валькином рассказе встречаешь его снова; вот так встреча!

— Ой, не идет! Не умею! Муть! — вопит иногда Валька и сует бумагу в печку.

— Балда, — говорю ему я. — Психованный тип. Лев Толстой, знаешь, как мучился? А бумагу не жег.

— А Гоголь жег, — говорит он.

— Ну и зря, — говорю я.

Очень Тамаре моей Валька понравился и дочке

тоже. А у самого у него семейная жизнь не ладится, по швам расплзлась. Не знаю уж, кто из них прав, кто виноват. Таня ли, он ли, а только понял я из Валькиных рассказов, что мучают они друг друга без веских причин.

Я снял кастрюлю, керосинку задул, навалил себе полную тарелку бобов и стал ужинать под легкую инструментальную музыку.

Не знаю, что делать мне с крановщицей Машей? Как получилось у нас с ней это самое, неделю мучился потом и бегал от нее, все Тамару вспоминал. Не хватает моей души на двух баб. А Валька говорит, что он в этих делах не советчик. А ведь мог бы подбросить какие-нибудь цэ у. Писатель все же. Молчит, предоставляет самому себе.

А Маша мне стихи прислала: «Если ты облако белое, тогда я полевой цветок, все для тебя я сделаю, когда придет любви моей срок».

Тамара мне, значит, носки вязанные и шарф, а Маша — стихи. Дела!

— Облако белое! — смеется Марвич. — Облако в клешах!

Это он шутит, острит без злобы.

По крыльцу нашему застучали шаги, и послышалось шарканье — кто-то глину с ног соскребывал. Я зажег свет. Вошли Марвич и Мухин. В руках у них были бутылки. Значит, Валька не к Дому приезжих, а в автолавку бегал, вот оно что.

— Давно с тобой не виделись, — сказал мне Мухин. — Заскучал за тобой, Сергей Иванович.

— Садитесь, штурман, — сказал ему Валька и поставил бутылки на стол: ноль-пять «Зубровки», ноль-пять алычовой и бутылку шампанского.

— Можно отправление давать? — спросил я.

— Давай, — сказал Валька и разлил поначалу «Зубровки».

— Внимание! — крикнул я. — До отхода голубого экспресса «Ни с места» осталось пять минут. Пассажиров просим занять свои места, а провожающих выйти из вагонов. Сенкью!

— Провожающих нету, — заметил Марвич, и мы выпили.

— Тут вдову мне одну сватают, — сказал Мухин. — Как думаете, ребята, может, стоит мне остепениться на сорок пятом году героической жизни?

— Что за вдова, Петрович? — спросил Валька.

— Одного боюсь — весовщицей она работает. Вдруг проворуется? Мне тогда позор.

— А ты ее сними, Петрович, с весов и пусти на производство, — посоветовал я.

— Идея, — сказал Мухин и разлил остатки «Зубровки».

На дворе пошел дождь. По окошкам нашим снаружи потекли струйки.

— Вот моя Тамарка медсестрой работает. В госпитале, — сказал я.

Мне стало печально, когда я вспомнил о Тамарке.

Струйки дождя на окнах напомнили мне балтийские наши дожди и все города, по которым мы кочевали с Тамаркой: Калининград, Лиепая, Пярну... Как мы сидим с ней, бывало, обнявшись, на кровати и поем: «Мы с тобой два берега у одной реки», а за окном дождь, Тамарка ногой коляску качает, а дочка только носиком посвистывает. Горе ей со мной, жене моей: все меня носит по разным местам, и дружки

у меня все шальные какие-то попадают, можно сказать, энтузиасты дальних дорог.

Валя пустил в ход алычовую. Она была сладкая и напомнила мне утренний торт. Но все же она ударяла — как-никак двадцать пять градусов.

— А у меня жена артистка, Петрович, — сказал Валя.

— А-а, — улыбнулся Мухин, — с их сестрой тяжело. Фокусы разные...

— Ну да, — сказал Валя, — комплексы там всякие...

— Знаешь, — сказал я ему, — если уж она в Березань приехала, значит без всяких финтов. Такое мое мнение.

— Да, может быть, это и не она? Может, тебе померещилось, Серега?

— Что же ты не сходил в Дом приезжих?

— Боюсь, — тихо сказал Валька, кореш мой.

Мы стали обсуждать все его дела, но, конечно, путного ничего сказать ему не могли. Мухин, должно быть, представлял на месте Тани свою вдову, а я то ли Тамарку, то ли крановщицу Машу с ее стихами. А ведь такая девка, как Таня, стихов своему дружку не напишет. Потом мы допили алычовую и замолчали, размечтались каждый о своем. Мухин журнал листал, Валька крутил приемник, а я в потолок смотрел.

— Я хочу простоты, — вдруг с жаром сказал Валька. — Простых, естественных человеческих чувств и ясности. Хочу стоять за своих друзей и любить свою жену, своих детей, жалеть людей, делать для них что-то хорошее, никому не делать зла. И хватит с меня драк. Все эти разговоры о сложности,

жизнь вразброд — удобная питательная среда для подонков всех мастей. Я хочу чувствовать каждого встречного, чувствовать жизнь до последней нитки, до каждого перышка в небе. Ведь бывают такие моменты, когда ты чувствуешь жизнь сполна, всю — без края... без укоров совести, без разлада... весело и юно... и мудро. Она в тебе, и ты в ней... Ты понимаешь меня, Серега?

— Угу, — сказал я.

— У тебя были такие моменты?

— Были, — сказал я. — Помню, на Якорной площади в День флота мы перетянули канат у подводников. А день был ясный очень, и мы все вместе пошли на эсминец. На пирсе народу сбилось видимо-невидимо: офицеры, рядовые — все смешались и смеялись все, что вставили фитиль подводникам...

Я вспомнил Якорную площадь, бронзового адмирала Макарова в синем небе, команду подводников в брезентовых робах — крепенькие такие паренечки, что твои кнехты, — и как мы тянули канат шаг за шагом, а потом пирс, вымпелы, шеи у ребят здоровые, как столбы, и загорелые, и наш эсминец, зачехленный, серый, орудия, локаторы, минные аппараты — могучая глыба, наш дом.

— Да, да, я понимаю тебя, — печально как-то сказал Валька. — Но видишь ли... Вот я, и ты, и Мухин, все нормальные люди постоянно мучают себя. Я все время пополняю моральный счет к самому себе, и последнее в нем — странный парень, переросток, то ли пройдоха, то ли беспомощный щенок... Куда он делся? Это мучает меня. Ну ладно, это к слову, но если уж так говорить, одно веселенькое чирикание не приведет в ту полную, чистую жизнь...

— Туманно выражаетесь, товарищ, — сказал Мухин.

— Да, да, — огорчился Марвич, — в том-то и дело, корявый язык...

— Боцмана я недавно встретил демобилизованного, — вспомнил я. — Стоит наш эсминец на консервации теперь, на приколе. Моральный износ, говорят, понял?

— В такую жизнь ведут тесные ворота, — сказал Марвич, — и узкий путь. Надо идти с чистыми руками и с чистыми глазами. Нельзя наваливаться и давить других. Там не сладкими пирогами кормят. Там всем должно быть место. Верно я говорю, Петрович?

— Верно! — махнул рукой Мухин. — Открывай шампанское!

Мы выпили шампанского, и вот тут-то нас немного разобрало. Спели втроем несколько песен, и вдруг Валька захотел идти в Дом приезжих.

— Поздно, Валька, — сказал я. — Завтра сходишь.

— Нет, я сейчас пойду, — уперся он, — а вы как хотите.

Мы вышли все трое из вагончика и заплюхали по лужам. Вдали шумела стройка, работала ночная смена. Ползали огоньки бульдозеров, иной раз вспыхивала автогенная сварка, и тогда освещались фермы главного корпуса.

— Я ее люблю, — бормотал Марвич, — жить без нее не могу. Как я жил без нее столько месяцев?

Я помню улицу, — говорил он. — Знаешь, в том городе есть улица: четыре башни и крепостная стена, а с другой стороны пустые амбары... Там и началась вся наша путаница с Таней. Знаешь, для меня эта

улица как юность. Когда я был мальчишкой, мне все время мерещилось что-то подобное и... Но ты, Сергей, должно быть, не понимаешь...

— Почему же нет? — сказал я. — Мне тоже мерещилась всякая мура.

— А потом я стал стыдиться этой улицы. Как говорится, перерос. Напрасно стыжусь, а?

— Эх, вы, молодые вы еще! — крикнул вдруг Мухин, сплюнул и остановился.

— Ты чего, Петрович?

— Ничего, — в сердцах сказал он. — Ты детей видел в немецком концлагере? Ты видел, как такие вот маленькие старички в ловитки еще играть пытаются? А горло тебе никому не хотелось перегрызть? Лично, собственными клыками? Пока! Завтра к двенадцати явись на судно.

Он пошел от нас в сторону, раскорякой взобрался на отвал глины и исчез.

А мы, конечно, в Дом приезжих не пошли. Только издали посмотрели на огоньки и отправились спать. Конечно, не спали, а болтали полночи. Разговаривали. Мы поняли Мухина.

5. С соседками своими по комнате Таня познакомилась еще вечером. Это были три проезжие геологини и пожилая женщина-врач, инспектор облздравотдела. Утром, когда Таня открыла глаза, геологини уже встали, а инспектор сидела на кровати и расчесывала волосы.

В окне было солнце. Лучи его, проникая через занавески, падали на молодые тела геологинь. На них было хорошее белье. Они ходили в одном

белье по комнате, укладывали свои рюкзаки и кричали друг другу: «Сашка, Нинка, Стелка...» Потом они надели байковые лыжные костюмы и резиновые сапоги, и теперь трудно было представить, что под костюмами у них такое хорошее белье и столь свежие молодые тела.

— Идите, я вам полью, — сказала Стелка Тане.

В углу комнаты стояло ведро с водой и таз. Стелка поливала Тане из ковшика и разглядывала ее внимательно. Когда Таня обернулась, то увидела, что Сашка, Нинка и инспектор сидят на кроватях и тоже смотрят на нее.

— Ты в кино, случайно, не снималась? — спросила Стелка.

— Снималась.

— Так вы, может, Татьяна Калиновская? — спросила Сашка.

— Ага.

«Ужасная жизнь, — думала Таня, расчесывая волосы. — Все тебя узнают, никуда не скроешься».

Она обернулась и увидела, что геологини сидят рядком и ошарашенно смотрят на нее. И инспекторша косится, хоть и делает вид, что перебирает бумаги.

Вот эти женщины смотрят на нее, как на сошедшую с Олимпа. Слепительная жизнь рисуется в их воображении, когда они смотрят на нее. Они ведь не знают, что такое девятый дубль, когда все раздражены и смертельно устали, идет режимная съемка, а ты — игрушка в руках режиссера, он охвачен творческим экстазом, а твой-то экстаз погас еще на третьем дубле, — да мало ли чего они не знают. Они знают про кинофестивали и про репортеров,

штурмующих отели, и воображают, как ты идешь по набережной в Канне вдвоем с Марчелло Мاستройяни, а из-за угла выбегает охваченный ревностью Ален Делон, но они не знают про твою одинокую зиму, про твою разнесчастную нелепую любовь ничего не знают...

Есть женщины как женщины, а от актрисы требуется экстравагантность, но у тебя один только муж, и больше тебе никого не надо, ведь ты обыкновенная женщина, сколько же лет тебе понадобилось, чтобы понять это?

— Ну что, девочки? — улыбнулась Таня.

— Дайте автограф, а? — пискнула Стелка.

— Пожалуйста, хоть десять.

«Девочки» налетели на нее с записными книжками, вереща:

— А вы Баталова знаете?

— А со Смоктуновским знакомы?

— А с иностранными артистами встречались?

В окно кто-то сильно застучал, стекло задребезжало.

— Ой, как жалко, нам в маршрут!

— Пошли, девки! — с горечью сказала Нина.

Они пожали Тане руку, а Стелка, будто самый близкий из них человек, чмокнула ее в щеку. Навьюченные рюкзаками девушки выбежали из комнаты, на крыльце послышались их голоса, мужской смех, через секунду в окнах над занавесками замелькали головы подпрыгивающих парней. Они улыбались Тане.

Инспектор была уже в пальто и с кожаной папкой под мышкой.

— До свидания, — сказала она Тане. — До вечера.

Таня вышла вслед за ней на крыльцо и увидела цепочку геологов, идущих по деревянным мосткам к большому зеленому фургону.

Низкие каменные здания XIX века видны были через площадь и длинные торговые ряды, под арками которых в узких кельях таились магазинчики культ-товаров, галантерей и трикотажа. Рядом виднелась облупленная часоуенка с вывеской «Керосин, москательные товары». Перед этими зданиями стояла серая, а местами прямо-таки черная, довоенная еще статуя осоавиахимовца, к руке которого в позднейшую уже эпоху прикреплен был голубь мира. Можно было представить себе многолетнюю сонную жизнь старого райцентра Березань, возле которого ныне строился индустриальный гигант, рылись котлованы под фундаменты новых домов нового города.

С крыльца гостиницы видны были бескрайняя тайга и излуцина огромной реки. По тайге и по реке плыли тени маленьких мрачных туч.

— Пойдем поищем какую-нибудь еду, — услышала Таня за спиной голос Горяева.

— Привет, — сказала она, не оборачиваясь.

Горяев сзади щелкнул зажигалкой, над Таниным плечом пролетело облачко сигаретного дыма.

— Милый городок, — проговорил Горяев. — А статуя какова! Это уже чистый абстракционизм.

Он хохотнул.

— Мне нужно здесь найти одного человека, — сказала Таня. — Это мой муж. Марвич.

Горяев спустился на одну ступеньку и заглянул ей в лицо.

— Валентин Марвич твой муж? — осторожно спросил он.

— Да.

— Когда же вы успели?

— Года три назад мы успели.

— Ах, вот оно что! То-то там болтали, а я не понимал...

— Я жду Сережу. Возможно, он сможет помочь.

— Так Марвич здесь?

— Да.

— Занятно, — проговорил Горяев.

Он спустился с крыльца и пошел через площадь к «Осоавиахимовцу», медленно обошел вокруг скульптуры и остановился, глядя на Таню. Между ними проехал тяжелый автобус, прошла конная упряжка, промчался галдящий фургон с геологами.

Вдоль торговых рядов, вихляясь, ехал велосипедист. Это был Сергей Югов. Утром, когда Марвич ушел на работу, он занял велосипед у топографа Шевырьева и поехал за Таней. Марвич перед уходом напроць запретил ему проявлять инициативу, но он ее и не проявлял — просто занял велосипед у топографа и поехал за Таней.

Еще издали он увидел ее на крыльце Дома приезжих. Она была в брюках, теплой куртке и в платке.

«Хороша девчонка, — подумал Сергей. — Ради такой девчонки можно и проявить инициативу».

Он подкатил к Тане и поприветствовал ее. Таня сбежала с крыльца. Подошел и Горяев.

— Смех, — сказал Сергей, — сейчас прибежал наш матрос Сизый, вы его знаете, нижонистый такой, просил у моего соседа учебник тригонометрии для десятого класса. А мой сосед в двух институтах

занимался. Правда, не кончил, но образованный человек. Откуда у него школьные учебники?

— Сережа, вы случайно не знаете здесь на стройке такого Валентина Марвича? Кажется, он шофером работает.

— Шофером? — спросил Сергей и задумался. — Шофера такого не знаю, а вот тракторист такой есть.

— Он рассказы пишет, — сказал Горяев. — Слышал?

— Все может быть, — согласился Сергей. — Сейчас многие пишут. Девчонка у нас тут одна, крановщица, так та стихи сочиняет. Что это с вами, Таня?

Таня присела на ступеньку крыльца и сжала лицо в ладонях. Она знала, что он здесь, но то, что сейчас он оказался так близко, где-то среди этой разрытой земли, среди глины, булыжника и гудрона, то, что еще сегодня они наверняка встретятся, вдруг потрясло ее. Всю зиму каждый день она надеялась, что вдруг из-за угла выйдет Валька в своем обшарпанном пальто и снова предложит ей свою любовь на ближайшую сотню лет с дальней лучезарной перспективой тихой смерти в один день. Но на перекрестках ей встречались каждый раз другие люди. В основном это были люди, уверенные в себе, с твердыми жизненными планами, жесткие, но готовые и помочь, поддержать. Она оборачивалась — иные удалялись, выпрямив стойкие спины, иные застывали на углах, ежась и мгновенно теряя свой лоск и независимость. Таня была гордой и мрачной, она уходила. Отстукивали каблучки.

— Почему же он тракторист? — спросила она. — Ведь он же был шофер.

— Может, курсы трактористов кончил, бульдозе-

ристов, экскаваторщиков, — предположил Сергей. — Когда мы приехали, в Березани шоферов было навалом, а трактористов не хватало. Многие тогда на курсы пошли.

— А как мне найти его, Сережа? Где?

— Поехали. Покажу.

— Пока. Привет Марвичу, — независимо сказал Горяев и отправился разыскивать управление строительства.

Таня даже не взглянула на него, и это его задело, разбередило какие-то нехорошие чувства, и в борьбе с этими чувствами он дошел до ресторана Роспотребсоюза, куда и направился завтракать.

— Садитесь на раму, — сказал Сергей Тане.

Таня устроилась на раме, Сергей тронулся с места сначала тяжело, но потом все-таки развил скорость, обогнул «Осоавиахимовца», проехал мимо торговых рядов и выехал на прямое и ровное, но залитое жидкой грязью шоссе.

Они ехали по обочине. Иногда их с жутким грохотом обгоняли самосвалы, а они, в свою очередь, обгоняли тихоходные грейдеры и тягачи с платформами-прицепами, на которых сидели и лежали женщины-строители.

Самосвалы сворачивали туда, где вдалеке высился стальной каркас гигантского здания, вокруг которого были разбросаны временки, ползали машины, медлительно двигались краны, мелькали синие, серые и голубые пятнышки — люди.

Сережа энергично работал ногами, рулил, надавливая руками Тане на бока, иногда его нос тыкался в ее щеку. Один раз в такой момент Таня повернула голову, он увидел близко ее глаз и сильно покраснел.



Приходилось ему и раньше возить девчат на раме велосипеда, но что-то он не краснел до этого.

Таня увидела большую холмистую равнину, замкнутую подступающей тайгой. В середине равнины — песчаный карьер с огромным терриконом красноватого песка, а слева от террикона на бурой поверхности возились три маленьких трактора, покрашенные наполовину в желтый, наполовину в красный цвет.

Сереза остановился. Таня спрыгнула. Он посмотрел из-под руки.

— Вон ближний трактор Вальки Марвича. Дальше сами добирайтесь, а мне пора на судно.

— Спасибо, Сережа.

Таня перебежала через шоссе, скатилась под откос, угодила в пласт залежавшегося черного снега и сразу промочила ноги. Она пошла напрямик, и на ботинки ее сразу налипло по полпуда глины. Она шла и смотрела на трактор, на то, как поднимался маленький ковш и высыпал глину и как он падал вниз. Человек, ворочавший рычаги, был в ватнике и без шапки. С каждым Таниным шагом он все больше походил на Марвича. Она побежала, глядя на его ввалившиеся щеки, на слипшиеся на лбу короткие волосы. Он развернул трактор и заметил ее. Осторожно опустил ковш и вытер лицо рукавом.

Их разделяла траншея. Таня махнула рукой и счастливо засмеялась.

— Валька, узнаешь?! — крикнула она.

Можно было не кричать, можно было говорить тихо.

— Здравствуй, милая, — тихо сказал он.

Она подпрыгнула на краю траншеи, как прыгала когда-то года три назад.

— Что ты делаешь? — спросил Марвич, улыбаясь.

— Гуляю! — закричала она. — А ты?

— Я рою траншею.

— А зачем она?

— Для теплоцентрали, — сказал он. — Прыгай же!

Она прыгнула через траншею.

6. Очень высоко, в черных переплетениях стальных ферм сквозило сизое небо с мелкой-мелкой, словно сделанной тончайшей спицей, наколкой звезд.

Таня и Марвич медленно шли под сводами главного корпуса. Гулко стучали их шаги по бетонному покрытию. Здесь было тихо, сумрачно, таинственно, и только где-то в конце гигантской конструкции на большой высоте вспыхивала сварка, и только редкие возгласы сварщиков, перекатываясь, плыли в высоту, непонятные, как большие темные птицы.

Они остановились. Марвич поцеловал Таню. И вдруг быстро отошел от нее, скрылся в тени чудовищного упора.

— Валька! — крикнула Таня и испугалась силы своего голоса, который уходил вверх и уже начал жить своей собственной, обособленной от нее жизнью.

— Вхожу я в темные храмы, — откуда-то из мрака медленно и торжественно прочитал Марвич, —

Совершаю свой бедный обряд,
Там жду я Прекрасной Дамы
В сиянии красных лампад...

В темноте светилась только сигарета в его руке. Таня сделала было шаг, но, как дальняя зарница, вспыхнула сварка и осветила прижавшуюся к упору невероятно маленькую, словно в перевернутом бинокле, фигурку Марвича; метнулись большие тени, все затрепетало и вновь погрузилось в темноту. Таня осталась стоять на месте.

А голос Марвича, сильный и строгий, с монотонным распевом продолжал:

В тени высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей,
А в лицо мне глядит озаренный
Только образ, лишь сон о Ней.

То и дело вспышки озаряли бетонное покрытие, освещая странным мгновенным светом две маленькие фигурки далеко друг от друга и похожие на гробницы глыбы компрессоров; казалось, вот-вот разразится гроза, но вновь возникала тихая минутная темнота, словно качающаяся под удары метронома...

Ухнула где-то чугунная баба. Послышался резкий свисток паровичка.

Марвич подошел к Тане.

Они обнялись и пошли назад; сторонясь грузовиков, направились к шоссе. Над зубчатым контуром тайги поднималась полная луна. Маячили слабые огонечки Березани.

— Зачем ты меня сюда привел? — спросила Таня.

— Чтобы прочесть тебе эти стихи, — улыбнулся Марвич.

— Почему именно здесь?

— Мне здесь нравится, — медленно заговорил он. — Здесь наша общность, здесь наша цельная душа. Мы заняты одним делом и чувствуем теплоту друг к другу, хоть и не все знакомы, но мы все вместе — сварщики, крановщицы, шоферы, трактористы... Понимаешь? Все вместе... Поэтому я и привел тебя сюда. Ты понимаешь меня?

— Я тебя люблю, — сказала она.

На главной площади Березани под луной кипела вечерняя жизнь: скрипели ржавые велосипеды, тахтели мотоциклы, под гитару молодые голоса орали песни, группа парней штурмовала ресторан Роспотребсоюза, под арками торговых рядов жались парочки, сторожиха шугала их, но бесполезно.

— Сегодня была получка, — сказал Марвич. — Прекрасная Дама, пошли на «пяточок».

На «пяточке» возле общежития монтажников колыхалась густая толпа танцующих. Кто-то вывел через динамик мощный звук радиолы.

«Давай, бабушка, давай!» — кричала певица из динамика.

Таня и Марвич пустились в пляс.

— Валька, Валька, не стилий! — крикнул из толпы чей-то веселый голос.

— Так ведь это же чарльстон! — крикнул Марвич в ответ.

— Законно, Валька! Давай, бабушка, давай! — крикнули из другого места.

Таня отплясывала, и Марвич отплясывал вместе с ней, обняв ее за плечи. Она смеялась, и муж ее смеялся. Ей не верилось, что у нее такой вот муж, веселый, легкий парень. Она увидела, что над толпой танцующих возвышается огромная Доска почета с резными пышными знаменами и гирляндами, и там среди многих насупленных фотографических лиц заметила и насупленное лицо Марвича.

— Ого, Валька! — засмеялась она. — Я смотрю, ты здесь в лучшие люди вылез.

— А что! — усмехнулся он. — Я тут не из последних.

— А рядом с тобой это Югов?

— Ага!

— Вы знакомы?

— Здравсьте! Лучшие друзья. Вторая койка в вагончике — это ведь его.

— Вот хитрый Сережка! — воскликнула Таня.

Из-за Доски почета выглянуло несколько физиономий.

— Валька, иди сюда! — поманили Марвича.

Марвич потащил Таню за доску, и там они увидели группу притаившихся парней.

— Хочешь хлебнуть? — спросил один из них и протянул Марвичу пузатую тяжелую грелку.

— Что это? — спросил он, принимая грелку.

— Вермут розовый.

— Хочешь? — Марвич протянул грелку Тане.

Таня отвинтила пробку и засмеялась.

— Это для меня ново. Из чего угодно пить приходилось, а вот из грелки впервые.

— Вермут на женщин хорошо действует, — сказал длинный блондин с ястребиным прищуром.

— Правильно, — подтвердила Таня. — Только вот жалко, на мужчин вермут плохо действует.

Все засмеялись.

— Откуда девчонка? — шепнул блондин Марвичу.

— Это жена моя, — шепнул тот в ответ.

— Ух ты! — ухнул блондин.

— Ребята, знакомьтесь, — сказал Марвич. — Это жена моя, Таня.

Грелка быстро опустела. Блондин свернул ее в трубочку и сунул в карман.

Потом они попали на какую-то свадьбу в общезитии. Попали уже к тому моменту, когда там песни начали петь, а некоторые мужчины выходили в коридор для серьезных бесед. Тут обязанности распределались правильно: Таня пела, а Марвич бегал в коридор разнимать парней. Потом он присел ря-

дом с Таней на койку, притихший, с небольшим синяком на скуле.

— Опять ты дрался? — Таня потрогала синяк.

— Это драки пустяковые, — сказал он. — Дружеские шлепки.

— Да уж, у тебя были драки почище. Я помню, каким ты пришел ко мне в гостиницу.

Марвич вздрогнул и диковато посмотрел на нее.

— Ты был весь разукрашен тогда.

— Кянукук мне делал примочки, — глуховато сказал он, глядя в пол.

Он вспомнил все это с неожиданной ясностью и будто снова почувствовал боль и легкость побежденного.

— Кстати, где он, не знаешь? Я писал, а он не отвечает.

Он вспомнил тех троих и сам удивился, почему не спросил о них, почему он не спросил у нее ничего о том лете, чем оно кончилось, — как будто и не было его никогда.

— Ну и паренечек был. Петух на пне. Жалкий такой, но симпатяга, как щенок. Врун он был отчаянный. Все хотел на радио устроиться. Ты не знаешь, где он сейчас? Я все время чувствую какую-то вину...

Таня молчала. Марвич поднял голову и увидел, что она смотрит в потолок, закусив губу. И бледная как мел.

На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы, —

распевали за столом гости и молодожены. А возле двери барабанили каблуками девчата совсем уже под другую музыку.

— Что с тобой? — спросил Марвич.

— Он умер, Валя, — сказала Таня и, вздохнув, провела рукой по лицу. — Умер Кянукук.

— Что ты болтаешь? — тихо проговорил Марвич и вдруг вскочил. — Что-о?!

— Он разбился на мотоцикле. Я тебе все расскажу.

— Рассказывай.

Она стала рассказывать, а он сидел, привалившись к стене, и курил. К ним подходили с рюмками, они чокались, смеялись, а потом Таня снова рассказывала. Когда она кончила, он обнял ее и поцеловал.

— Я не знаю... — забормотала она. — Ведь никто не был виноват, уж я-то не виновата, это доказано, и те трое, которых ты знаешь, тоже... Но я все время думала о нем, всю зиму, только сейчас забыла, когда мы встретились... Конечно, я виновата!

— Пойдем домой, маленькая, — тихо сказал он.

7. В субботу мы чуть не запоролы свой катер. Случилось это в Лосиной протоке, километрах в пятидесяти к северу от Березани. Начальство, умные головы, послало нас в эту протоку забрать поисковую партию и подбросить ее до Мазиловки, что еще на двадцать километров ниже по течению. Никаких промеров протоки этой не делалось сроду, и разведка с воздуха не велась.

Значит, вошли мы в Лосиную протоку и углубились в нее километра на три. Тут видим, прет на нас сверху черная безобразная стена. Это был прошлогдний сплав, который осенью где-то затерло, а сейчас нечистая сила гнала его прямо на нас.

— Ахтунг! — заорал Мухин, высунулся из рубки и весь побелел.

Какой там «ахтунг»! Грохот стоял страшный, бревна вздыбились, корежило их, и неслась прямо на нас эта жуть.

Повернули мы назад, гоним на полных оборотах, а грохот сзади близится. Еле-еле успели выскочить в реку, в какой-то заливчик. Мухин там начал маневрировать, а мы с Сизым с баграми стали по бортам. Метрах в двадцати от нас проносился сплав. Сильное течение гнало его в реку, и здесь он расходился веером.

Мухин все кричал свое «ахтунг, ахтунг», а мы с Сизым прыгали, как блохи, от борта к борту, с носа на корму и отталкивали баграми отдельные полешки в три обхвата. Часа два это продолжалось, не меньше. Потом протока очистилась. Взмокли мы с Сизым — будь здоров, и у Мухина тоже с бровей капало. К вечеру все же добрались до поисковой партии и тихо-мирно доставили ее в Мазиловку.

В Березани заночевал я на катере. Мухин звал к себе — у него комната в первом новом доме Березани, — да и у Сизого в общежитии нашлась бы колючка, но я решил на катере заночевать. Чем мне здесь плохо? Вскипятил себе чайку, поел копченого тайменя, пряников, включил наш маленький батарейный приемник и завалился на рундук.

Музыка была симфоническая, очень сильная штука, я лежал и волновался. Был я один раз на лекции «Как понимать серьезную музыку». Лекторша была ученая тетка в очках и сером костюме. Она говорила, что для понимания музыки надо знать «исторические истоки» и «расстановку общественных сил».

Если не знаешь, как силы тогда были расставлены, музыку не поймешь. А потом заводить стала пластинки и объяснять: вот ручеек бежит, а это вот грозные силы природы... Не понял я тогда ту тетку. Никаких ручейков я не вижу, когда слышу музыку, и вообще никаких пейзажей. Волнуюсь только — и все, и сам не пойму, о чем.

Потом музыка кончилась, я приемник выключил, стал засыпать. Катерок покачивался, и было мне хорошо, как будто в кубрике нашего эсминца, только немного одиноко. На эсминце мы спали в три яруса двадцать семь человек, а тут один лежишь, как бобер. Не люблю я ночевать в одиночестве, почему-то мне надо, чтоб обязательно кто-нибудь рядом сопел.

Утром я почистился, побрился, сбегал на брандвахту за утюгом и отпарил свои штаны. Сегодня у меня выходной день, а вчера была получка. Направил я свои сапоги первым делом на почту — послать перевод Тамарке. Надо сказать, что семья моя живет материально неплохо. Семьдесят-восемьдесят рублей каждый месяц они с меня имеют плюс Тамаркин оклад. Пишет супруга, что почти уже набрала на телевизор.

На почте долго пришлось мне в этот день постоять: много народу переводы посылало. Потом зашел в клуб, в боксерскую секцию, поработал там немного с одним кочегаром. Кочегар крепко работал, лучше, чем я. Проиграл я ему по очкам. Но все же и я провел парочку-другую крепких крюков. Кочегар, второразрядник, после этих крюков сильно меня уважал.

— Мало тренируетесь, Югов, — сказал он мне. — Будете больше тренироваться, из вас толк выйдет.

— Толк выйдет, бестолочь останется, — конечно, засмеялись ребята.

Потом купил я себе конфет и стал крутиться по городку, не зная, что делать. День был хороший, на солнце даже тепло, и по площади да и по всем улицам народу шлялось видимо-невидимо. В протоварном выкинули какие-то трикотажные кофточки, бабы там визжали, а милиционер пытался их в очередь организовать.

Издалека я посмотрел на наш вагончик. Он стоял на холмике, маленький такой, но красивый — недавно мы его с Валькой заново покрасили в голубой цвет, — а на крыше пучковая антенна. Может, навесить мне любящую пару? Нет уж, пусть они там милуются в полном одиночестве. Если бы ко мне Тармарка приехала, мы бы с ней небось тоже забились в угол, как суслики, и ни с кем бы нам не хотелось встречаться.

В тот день, когда Валька с Таней встретились, я их увидел вечером на шоссе. Ехали они вместе на тракторе «Беларусь», и физиономии у них были такие, как будто по теплему морю плывут. Я был рад за Вальку. Похоже было на то, что теперь у них взаимоотношения наладятся.

Кто-то в бок меня толкнул. Знакомая компания собралась на рыбную ловлю и меня с собой звала. Ребята со мной разговаривали, а девочки хихикали в сторонке.

— А где же удочки-то ваши? — спросил я ребят.

— Зачем нам удочки? — смеются они. — Карасей у нас и так вон сколько. — И показывают сумки с бутылками.

Я вежливо отказался. Знаю я эти рыбалки — по-

том голова трещит четыре дня и свет тебе не мил, кажешься сам себе лепешкой дерьма.

Ребята махнули на меня рукой, а от девчат отделилась одна, ко мне подбежала. Гляжу, это Маша-крановщица.

— Сережа, почему вы не едете? — спросила она.

— А потому, что я свою рыбину уже поймал. А вы езжайте. Ловите!

— Я ведь думала, что вы поедете, поэтому и согласилась.

— Ничего, ничего, — сказал я, — езжайте с ними. Может, поймаете щуку с руку.

Злость меня почему-то разобрала, а Маша смотрит на меня синими глазами, и лицо у нее круглое и румяное.

— Я думала, вы поедете. Разведем костер, песни попоем... Раз вы не поедете, так и я останусь.

— А это зря, — говорю. — Собрались рыбу ловить, так и ловите.

— Я с вами хочу быть, — тихо говорит она и бледнеет.

— Я не рыбак, — говорю, — а там рыболовы знатные.

— Тогда я домой пойду, — прошептала она и пошла в сторону, сгорбилась, маленькая какая-то стала.

— Маша! — крикнул я, и она сразу выпрямилась, обернулась быстренько так, ладненькая такая девчонка.

— Что? — звонко так спрашивает.

— Если уж вы рыбу расхотели ловить, так можно сходить в кино.

— Ой, как хорошо! — ладошками хлопала.

— Только картина старая, — сказал я. — «Козленок за два гроша».

— Я не видела, — говорит. — Тяжелая?

— Пуд, — сказал я. — Пуд с довеском.

— Только я переоденусь. Я ведь в лес было собралась.

— Понятно. Рыбку собрались ловить.

— Да ладно вам! — смеется.

Веселая стала, радостная. Чего она во мне такое обнаружила? Знает ведь, что семейный.

Проводил я ее до общежития, посидел на завалинке. На разные хихиканьки да хахаханьки внимания не обращал. Смотрю, выходит Маша — прямо красавица, модная особа. Пальто фиолетовое в талию, клипсы, бусы, брошка, туфли на «шпильках». Видно, все общежитие обобрала. А сама такая строгая, губки подмазала, только глазками зыркает. Девчата же из окон смотрят на нас, прыскают в ладошки.

Повел я ее, держу под руку. Прямо не верится, что недавно я с ней в кладовке у Мухина целовался. Хороша, конечно, Маша, получше моей Тамарки, но только Тамарка — это моя Тамарка, мы с ней по скольким городам кочевали и углы снимали и подвалы, пока приличную жилплощадь нам не дали в Пярну, и сколько мы с ней на первых порах помучились, такое разве забудешь?

Березанский клуб в церкви помещается. Красивая, видно, была когда-то церковь, осталась еще глазурь на куполах. Сейчас церковь малость обшаркана, зато оклеена вся снизу разными красочными плакатами. Тут тебе и кино, и драмсекция, и бокс, и вольная борьба, поднятие тяжестей, обязательно

кружок кройки и шитья, а также лекции здесь читают. Раньше только богу тут молились, а сейчас вон сколько дел у молодежи. Все уже и забыли, что тут церковь была, только иногда, когда лента рвется, святые со стен проглядывают.

В кассе народу было — не протолкнуться. Какие-то умники пацаненка подсаживали, чтобы по головам прошел к окошечку. Билеты я достал быстро, но с большим скрипом.

В общем сидим мы с Машей, смотрим английскую цветную кинокартину. Малый там какой-то с огромными мышцами, красивая девчонка, мальчик, козленок, старичок-часовщик. Так нормально смотрим, просвещаемся, только сзади два солдата немного мешают. Толкают друг друга локтями и кричат: — Ты! Ты!

Там, значит, мускулистый паренек и девчонка заходят в магазин для новобрачных и к коечке приглядываются двуспальной, сели на перину, подпрыгивают, и грусть у них в глазах. Дороговата коечка, да и ставить ее некуда — нет у них ни кола, ни двора. Вспомнил я, как мы с Тamarкой обстановку выбирали. Тоже жались на деньги, но жилплощадь у нас тогда уже была.

— Сережа, — шепнула мне Маша, — после того раза вы небось подумали, что я такая, да?

— Смотрите кино, Маша, — сказал я.

— Ты мой милый, ты мой хороший, — вдруг заревела она и сидит в платочек сморкается.

Прямо сердце у меня защемило.

— Я женатый, — сказал я. — И ребенка имею.

— Я знаю, — хлюпает она. — И все равно тебя люблю. Куда же мне деваться?

— Смотри кино, — говорю я. — После поговорим.

Там драка началась. Красивого этого малого избивает какой-то тип, похожий на гориллу. Ну подожди, и до тебя очередь дойдет, горилла!

— Ты! — завопил сзади солдат.

— Тише, пехота, — обернулся я, и солдат засмутился.

И вдруг от двери через весь зал кто-то как гаркнет:

— Югова на выход.

Я прямо подскочил, а Маша меня за руку схватила.

— Сергея Югова на выход!

— Что такое? Что такое? — лепечет Маша.

— Подожди меня тут, — сказал я и полез через ноги. Бегу по проходу и думаю: вдруг с дочкой что-нибудь, вдруг телеграмма?

— Вон к тебе, — сказали мне в дверях.

Я выскочил в фойе и увидел Таню. Она стояла у окна, и лица на ней не было.

— Что такое, Таня? — спросил я.

— Вы не видели Валю, Сережа? — спросила она.

— То есть как это? — обалдел я.

— Он пропал. Рано утром вышел из дому и до сих пор его нет. Мы уже с Горяевым все возможные места обошли, нигде его нет.

— Найдется, — успокоил я ее, а сам ума не могу приложить, куда мог деться Валька и что там у них произошло. — Найдется. С Валькой такое бывает. Шляется где-нибудь целый день, а потом является.

— Поищите его, Сережа, — тихо сказала она.

— Ладно. Иди домой, Танюша, а через час я его тебе доставлю. Чистеньким, без пятнышка.

— Хорошо, — еле-еле улыбнулась она, — я пойду, а ты поищи, пожалуйста.

В фойе уже танцульки начались, народу было много, и я стал обходить весь зал и спрашивать знакомых парней:

— Вальку Марвича не видели?

— Нет, — говорили они. — Сегодня не встречали.

— Что же он, от жены сбежал, что ли? — смеялся кое-кто.

Но никто его не видел и не знал, где он. Я выбежал из клуба и побежал к Валькиному бригадиру. Случайно знал я бригадирову хату.

Бригадир сидел на солнышке во дворе и лодку свою конопатил.

— Нет, — сказал он. — Знать не знаю, где Марвич, но только с утра, как шел я в магазин, встретился он мне и попросил отгул на три дня. Полагался ему отгул. Я дал. Я к рабочему человеку справедливо отношусь.

Обошел я все пивные, магазины, на пристань сбежал, в ресторан даже пролез — нигде Вальки не было, а стало уже смеркаться.

В сумерках я снова подошел к клубу. Церковь белела на темном небе, над входом надпись зажглась из электрических лампочек, а на ступеньках чернела толпа ребят, только огоньки папирос мерцали. Я подошел к ребятам и затесался в их толпу. Стрельнул у того кочегара, с которым утром бился, папироску.

— Слышал? — сказал кочегар. — На сто восьмом километре человека убили.

— Какого человека? — спрашиваю я, а сам что-то нервничаю.

— Никто не знает, что за человек, и кто убил — неизвестно.

— Что это вы мелете? — говорю я. — Что это за брехня? Как это можно человека убить?

— Точно, — кивают другие ребята. — Убили на сто восьмом кого-то. Говорят, монтировками по башке.

— Таких фашистов, — говорю, — стрелять надо.

— Правильно, — согласились ребята. — Не срок давать, а прямо к стенке.

— Валька Марвич не заходил сюда, ребята? — спросил я.

— Нет, не видели его.

Что за пропасть! Может, он уже в вагончике давно со своей Татьяной, а я тут бегаю, как коза? Решил я сходить в вагончик.

Таня сидела впотьмах на койке и курила. А на моей койке сидел Юра Горяев. Они молчали и дымили оба. Я тоже сел на койку и сказал:

— Точно неизвестно, но вроде его бригадир в лес послал с другими ребятами на заготовку теса. Крепления там надо ставить. Аврал у них на участке какой-то.

И только сказал про лес, вдруг захлестнула меня какая-то темная волна, и я захлебнулся от страха. Вдруг это Вальку на сто восьмом километре убили? И сразу я почувствовал такую злобу, такую ненависть, какой никогда у меня не было. Если это так, найду этих зверей в любом месте, сквозь тюремные решетки пройду, а горло им перегрызу. Ишь, что

выдумали, сволочи! Вальку моего монтировкой по голове? Ну, гады, держитесь!

— Где же он, мой Валька? — тихо спросила Таня.

8. Сережа ушел продолжать поиски, а Таня и Горяев остались в темном вагончике. Таня сидела, обхватив колени руками, смиряя дрожь. Ей хотелось куда-то бежать, кричать, расспрашивать, но она сидела, боролась с паникой — куда бежать, кого расспрашивать?

— Есть все-таки предел чудачествам, — сказал Горяев.

— Дай закурить. Спасибо. Ты о ком?

— О Марвиче. О ком же еще? Полезнее было бы ему быть сейчас в Москве.

— Он здесь работает по своей специальности, — сказала Таня.

Сейчас она была уверена в правильности Вальки, в мудрости и логичности всех его поступков, вот только куда он девался?

— Его искали люди с киностудии, — раздраженно сказал Горяев, — хотели заключить договор. Где он был в это время?

— Он, кажется, знает об этом, — тихо сказала Таня, у нее вдруг разболелась голова.

— Пора ему работать профессионально. Я говорил с ним, а он плетет какую-то ахинею, пижон!

— Тише, Юра, — Таня прилегла на подушку.

— Он что, собирает здесь материал для книги?

— Возможно. Почему ты так раздражен?

— Напрасно он темнит.

— Где он?

— Найдется.

— А вдруг нет?

— Он сейчас пишет что-нибудь?

Ее раздражал тон Горяева, но в то же время ее успокаивало, что он говорит о Вальке, о каких-то конкретных, практических его делах, и ей казалось, что сейчас откроется дверь и Валька войдет и ввяжется в спор с Горяевым.

— Пишет, кажется. Рассказ. Вон на столе листы. Горяев взял со стола листы и прочел:

«Валентин Марвич. Полдома в Коломне (рассказ).

Когда из-за потемневшего от времени забора сквозь пыльные акации я вижу маленький мещанский дворик с чисто выметенной дорожкой, с поникшим кустом настурции, с кучей желтых листьев, со скамейкой и столиком на подгнившей ноге, и окна в резных наличниках, не деревенские, а именно мещанские, пригородные, мне хочется остановиться и посмотреть на все это подольше, задержать все это в глазах, чтобы вспомнить о той тихой русской жизни, какой ни я, ни брат мой, ни даже наш отец никогда не жили. Может быть, только дед.

Константин нетерпеливо отстранил меня, толкнул калитку и побежал по дорожке. Черный сюртук его с золотыми погонями замелькал среди ветвей, что еще усилило литературное воспоминание о старине, о тихом, установившемся культурном быте с внезапными возгласами радости, с неожиданным шумом, с шумными короткими визитами флотских сыновей.

Не знаю, было ли это только литературным воспоминанием или здесь участвовала наследственная

память, странная и неведомая до поры работа мозга, но я вошел в палисадник, словно под музыку, словно под вальс «Амурские волны», словно из японского плена; горло мое перехватило волнение.

Отец уже спустился нам навстречу, крича, трубя, сморкаясь и откашливаясь.

— Опять без телеграммы?! Мерзавцы! Стервецы! Мало вас пороли!

Никогда он нас не порол и никогда не называл такими ласковыми словами, вообще совсем не так себя держал, но сейчас почему-то он точно подыгрывал моему настроению.

Дорожка к крыльцу была выложена по обе стороны кирпичами, поставленными косо один к одному, так, что получался зубчатый барьер. На столике в саду лежали отцовы очки и развернутый номер «Недели». Отец был в кителе, наброшенном на плечи, и в начищенных до блеска сапогах. Я стоял, обремененный чемоданами, и смотрел, как жадно отец обнимается с Константином.

— А теперь очередь рядового состава, — хохотнул Константин, отстраняясь.

И отец насел на меня. Грубая мясистая его щека прижалась к моей, гладкой и тугой, руки его легли мне на шею, захватив ленты, бескозырка съехала мне на затылок.

— Демобилизовался? — почему-то смущенно спросил отец.

— Так точно! — лихо ответил я.

Я вспомнил на мгновение наш тральщик, и ребят, оставшихся на нем, и длинный ряд однотипных тральщиков у стенки, вспомнил, как беззаботно и весело прощался со всем личным составом, и сердце

на мгновение сжалось от тоски. Со стыдом я почувствовал, что тральщик ближе мне сейчас и родней, чем отец.

— Водку привезли? — бодро спросил отец.

— Нет, — ответили мы.

— Ослы! — удивительно нежно пожурил он нас, и на голове у него появилась шляпа, нелепая соломенная шляпа тонкой выделки с ажурными разводами мелких дырочек для дыхания головы, услада периферийного домовладельца, очень нелепая на голове нашего отца, которого в детстве мы привыкли видеть в суконной фуражке а-ля Киров.

— В магазин! — скомандовал он.

Чемоданы были занесены на террасу, отец закрыл дверь, навесил замок, и мы пошли по дорожке. Оглянувшись, я посмотрел на дом. Дом, как и участок, был разделен на две половины, и другая половина, не принадлежавшая отцу, была свежепокрашенной, новенькой на вид, голубой, и там, на той территории, в зеленых грядках краснели помидоры, бегала собака, переваливались утки, маленькая девочка развлекалась на качелях — вообще кишела какая-то жизнь.

Отец остановился возле большого куста ярчайших цветов, кажется астр, крикнув, поправил подпорки и пошел дальше.

— Давно ли ты стал увлекаться цветами, батя? — спросил Константин.

— В цветах своя философия, — не оборачиваясь, буркнул отец. Затылок его покраснел.

Над низким заборчиком приподнялась шляпа, такая же, как у нашего отца, только сильно поношенная, и мы увидели человечка с крепенькими

красными щечками, с шелушащимся носом, на носу очки.

— Приветствую! — сказал человек.

Мы с Константином замедлили было шаги, но отец, даже не взглянув на человека, прошел мимо.

— Сынки пожаловали? — пискнул позади человек.

Отец распахнул калитку, и мы пошли вдоль внешнего забора.

— Отчего вы так нелюбезны к соседом, сэр? — весело спросил Константин.

— Жук, — сказал отец, — куркуль. Сосны рубит, корчует, под грядки ему земля нужна. Агротехник.

Человек опять выглянул. Оказывается, он все время бежал за нами вдоль забора, подслушивал.

— Вам хорошо говорить про сосны, Иван Емельянович, с вашей-то пенсией, — на бегу запищал он. — А у меня какая пенсия, вы же знаете, хоть и полагается персональная... Заслужил, да, да, — кивнул он мне, видя, что смотрю на него с вниманием. — Вы же знаете, Иван Емельянович, что я заслужил...

— Да ну вас совсем! — буркнул отец, смущенно оглядываясь на нас.

— Хорош коммунист! — воскликнул сосед. — К нему обращаются, а он «да ну вас совсем»!

Отец замедлил шаги.

— Оставьте, — сказал он. — Ну чего это вы? Чего вы продираетесь сквозь ваши заросли? Одежду порвете.

— Обидно, — хлюпнул носом сосед, — сынки ваши приехали, а вы даже не знакомите. Когда касается игры...

— Знакомьтесь, — сказал отец.

— Силантьев Юрий Михайлович, — солидно сказал сосед.

Он сразу преобразился и смотрел теперь на нас несколько сверху, любовно, отечески строго.

— Ишь, какие орлы у тебя вымахали, Иван Емельянович. Орлы, орлы! Оба с Северного флота? Ну как, граница на замке?

— Мы с ним в шахматы иной раз играем, — смущенно пояснил отец. — Чумной старик. Мемуары пишет о своем участии в революции, примерно так: «Помню, как сейчас, в 19-м году 14 империалистических государств ледяным кольцом блокады сжали молодую Советскую республику». И излагает учебник истории для средней школы. Но в шахматах имеет какой-то странный талант. Играет, как Таль: запутает, запутает, подставляет фигуры. Кажется, победа в руках, вдруг — бац — мат тебе!

Куда же ты теперь? — спросил меня отец за столом. — Может быть, продолжишь образование?

— Видишь ли, папа... — промямлил я, и вдруг меня осенило: — Понимаешь, есть у меня дружок, он служит на научной шхуне. Возможно, я пойду к нему на корабль матросом и аквалангистом.

— Матросом? Что ж... — отец посмотрел себе в тарелку и замолчал, словно там, в тарелке, среди огурчиков и помидорчиков, угадывались очертания моей судьбы. Может быть, он просто боролся с легкими толчками опьянения.

— И аквалангистом, — подсказал я.

Константин расхохотался и подмигнул мне. Отец взбодрился и поднял вилку с огурцом.

— Пошел бы в свое время в училище, был бы

уже... — он посмотрел на Константиновы погоны. — Был бы уже старшим лейтенантом.

— Это штатский тип, батя, — сказал Константин, — законченный штатский тип. Шляпа.

— Я тоже штатский тип, — возразил отец, — но я...

— Нет, ты военный, — сказал Константин.

— В армии я был только год, юнцом — на гражданской, а потом партийная работа, строительство — ну, вы знаете... Так что я гражданский.

— Нет, ты военный, — серьезно сказал Константин, — такой же военный, как я. А Петька гражданский. Шляпа.

Он ласково улыбнулся мне.

— Ну, ладно, — сказал отец. — Итак, дальше. Понимаешь, пришлось сосредоточить на перемышке всю технику, до сорока бульдозеров...

Он рассказывал о последней своей крупной стройке. Ужин наш проходил дружно, весело, уютно, вкусно, хмельно, свободно на террасе, в темные стекла которой бились мотыльки, на скрипучих полах, под голой лампочкой, с импровизированными пепельницами и клочками газеты для селедочных костей, по-мужски, по-солдатски, по-офицерски.

Когда я ушел спать, отец с Константином еще оставались на террасе. Лежа в темной комнате, я слушал их громкие голоса и думал.

Папа, думал я об отце. Брат, думал я о Константине. Шляпа, думал я о себе. Мама, думал я о далекой матери. Девушка, думал я о несуществующей девушке. Шхуна, думал я о выдуманной шхуне. Тральщик, думал об оставленных там, на Севере, друзьях.

Отец и Константин говорили о судьбах мира. Они расхаживали в дымных волнах, гремя, раскатывали шары своих голосов по опустевшей, притихшей в ожидании своей участи нашей планете.

Константин вошел в комнату, быстро стащил с себя обмундирование и лег.

— Эй, аквалангист! — крикнул он мне и сразу засвистел носом, заснул.

Я посмотрел на его молодой монетный командирский профиль и подумал о том, как скользит сейчас его подводная лодка, холодное тело в холодной среде под звездами, под пунктирами созвездий, под небом, под ветром, подо льдом.

Я видел отца через стеклянную дверь: он колобродил на террасе, собирал со стола — покатые его плечи с подтяжками, большие уши с пучками седых волос... Как мало я его видел в той его прежней жизни, он и родил-то меня чуть ли не в сорок лет.

Утром появилась женщина. Она вошла...»

На этом записи обрывались. Горяев бросил листы на стол.

— Утром появилась женщина, — сказал он, — все ясно. Не понимаю, зачем торчать в Сибири, если пишешь рассказы о Коломне. Ты читала?

— Отстань, — буркнула Таня.

Горяев встал в крайнем раздражении.

— Я знаю, что вы относитесь ко мне неуважительно, и ты и Марвич, но пусть он сначала достигнет профессионального уровня...

— Отстань ты от меня! — закричала Таня и села на кровати. — Какое мне дело до его профессионального уровня! Лишь бы он был со мной, и все! Мне

все равно, что он делает, пишет или копает землю, только где он?

— Ладно, я пошел его искать, — сказал Горяев.

— Подожди! Не уходи! Сядь лучше здесь. Говори, чеши языком. Ну, значит, что ты думаешь об его уровне?

9. К вечеру воскресного дня Марвич был уже довольно далеко от Березани. «Голосуя» на развилках разбитых дорог, он добрался до населенного пункта Большой Шатун, по сравнению с которым Березань выглядела столицей, шумным и благоустроенным городом.

В Шатуне он зашел в столовую и полез через толпу шоферов к окошку. В окошко выставили ему тарелку с куском жирной свинины и с картофельным пюре.

Он слабо представлял, что с ним происходит. Почему сегодня утром он вышел из вагончика, оставив там Таню в тепле, в бликах солнца, в одиночестве, в счастливом полусонном состоянии? Почему вдруг встретился ему бригадир? Почему вдруг подошел необычайно синий автобус? И почему он сел в него?

Всю ночь Таня шептала ему что-то, и он ей шептал. Светились фосфорические цифры и стрелки будильника. Приемник, передававший без конца джазовые концерты, к утру уже просто тихо гудел. Маячила в глазах оставленная Сережей тельняшка. Марвич пытался думать, пытался расставить все знаки препинания и произвести подсчет, но Танина рука тянулась к нему, он поворачивал ее лицо, глаза ее

то открывались, то закрывались, было жарко. Запах табака и ее духов.

Вчера по дороге домой она стала казнить, чуть ли не кричала, все говорила о прошлом лете, но он крепко держал ее под руку и говорил: «Перестань, не наговаривай на себя, замолчи, я люблю тебя, я люблю тебя...»

Он мешал ей думать о неприятном и страшном, а сам все думал, думал, все всплывало перед его глазами без плеска, без звуков: очертания башен и темная щель улицы, спокойный маленький город и несколько пришлых людей на его бюргерских улицах, затеявших с этими людьми неприятную игру; последнее — на вокзале, на слабо освещенном перроне: долговязый призрак его собственной юности, а сам он на подножке вагона, мужественный и железный, отбывающий в странствия... Он все думал и думал о человеке, который умер, о парне, которого теперь нет, но тут в ночи и духоте Таня начала ему мешать думать, она вмешивалась в его мысли властно по-женски и бездумно: тихими движениями рук, тихими губами, зрачками, светившимися в темноте, — сама уже забыв обо всем, мешала и ему думать.

Наконец к утру она уснула, и он стал смотреть на нее, спящую, на все ее тихое существо, лишенное сейчас суеты и тревог, на тот ее образ, который всегда был с ним, в каждую минуту его одиночества и везде, и ему вдруг стало страшно, что она сейчас вздрогнет и проснется с мыслями о своей вине и о невинности, с угрызениями совести и, главное, со словами, которые сейчас ему не нужны никак, сейчас она нужна ему вот такая, постоянная и молчаливая, и он тогда ушел...

Он доел свинину, подчистил всю тарелку на краешке общего стола, сколоченного из длинных досок. Доски не были подогнаны друг к другу и плохо обструганы, но края стола были уже отполированы рукавами шоферов. Водители сидели вплотную друг к другу, глаза их были мутны от усталости.

Народу было много, часть людей стояла с тарелками, дожидаясь места за столом, кое-кто ел стоя, держа тарелки на весу. Как всегда, в столовой было шумно, водители разговаривали друг с другом, но шум в этот раз был необычный, не слышно было смеха, шуток, голоса звучали резко и напряженно.

Марвич краем уха слышал, что все шоферы только и говорят о малопонятном, диком случае, о каком-то убийстве. Убийство? Какое убийство?.. Кого убили?.. Ему было сейчас не до этого.

Он вылез из-за стола и вышел на крыльцо. Надел кепку, закурил. Над лесом плавилась медная полоса неба в просвете фиолетовых туч. Поселок уже отходил ко сну. На горбатых его улицах не было ни души. Кое-где слабо светились крошечные оконца. Лишь возле столовой скопились проезжие машины, бортовые и фургоны. Молчащие и пустые, они стояли сплошной темной массой, и только в ветровых стеклах чуть отсвечивал запоздалый и медленный, будто вечный, закат.

Хлопнула сзади дверь, на крыльцо вышел большой темный человек. Так же, как и Марвич, он нахлобучил кепку и закурил. Несколько секунд постоял на крыльце, щелкнул языком, затопал вниз и медленно пошел к своей машине.

— Подвезешь до леспромхоза? — крикнул ему вслед Марвич.

— Садись, — ответил водитель, не обращиваясь.

По тому, как он тронул с места свой «ЯЗ», как приподнялся на сиденье, устраиваясь поудобнее, как сделал поворот, Марвич сразу понял, какой это классный водитель. Они ехали молча и быстро. Прогрохотали через Шатун, простучали бешеной дробью по колдобинам грунтовой дороги через поле и вдруг въехали в огромный настороженный лес на гладкую и прямую автостраду.

— Откуда тут бетонка? — удивился Марвич.

— Год уже, — недружелюбно ответил водитель.

И оба они замолчали на много километров вперед. Ничто их не тянуло за язык, у шофера были спички, а у Марвича — зажигалка, и сигареты у каждого были свои, оба нуждались в молчании и скорости, больше ни в чем.

Марвич бездумным взглядом смотрел вперед на дымный свет фар, на холодный туман и острые пики елей, он словно одеревенел и перестал себя ощущать, но вдруг вздрогнул, почувствовав, что водитель косятся. Он тоже покосился — водитель смотрел прямо перед собой. Лицо у него было сухое и недоброе. Тяжелые руки лежали на баранке, на большом пальце правой не было ногтя.

«Ну, и личность, — подумал Марвич и встряхнулся, сбрасывая оцепенение. — Если он затормозит и полезет за ключом, я нажму на ручку двери и выскочу. Если он побежит за мной в лес, я не стану убежать. Посмотрим еще, кто кого. Я его брошу через себя. Могу и руку тебе сломать, голубчик».

Шофер опять покосился, и у Марвича перехватило горло от страха и от предчувствия боя.

«Теперь смотри, — говорил себе шофер, — смотри



внимательно. Как опять полезет в карман, смотри в оба. Этот тип может и пушку из кармана вынуть. Если вынет что-нибудь такое, сразу тормози. И по руке ему бей, не по роже, а по руке.

Тип неизвестный и подозрительный. Зачем я его взял? Они ведь про зарплату всегда знают. Полез в карман. Нет, зажигалку вынул. Все равно смотри».

Машина пронеслась по темному шоссе, по бледным слоям тумана, что стелился по дороге, поднимаясь из болот.

— В леспромхозе когда будем? — спросил Марвич. Он уже вполоборота сидел к шоферу и следил за ним.

— К полночи, — ответил шофер и закусил губу.

Марвич тихо засвистел, стал выводить свою студенческую мелодию «Сан-Луи блюз».

«А какая ему с меня корысть? — подумал он, внимательно разглядывая шофера. — Разве что кожаная куртка. Впрочем, если он урка...»

«Свистишь? — думал шофер. — Усыпить бдительность хочешь? Хрен тебе!»

Он свернул машину к обочине и остановился. То же сел вполоборота к своему пассажиру, полез в карман, вынул пачку папирос.

— Будешь? — спросил он и протянул пассажиру пачку.

Марвич вытащил папироску и щелкнул зажигалкой. Оба закурили.

— Иностранная? — спросил шофер про зажигалку.

Марвич протянул зажигалку.

— Австрийская. Жена подарила. Не гаснет на ветру.

Шофер рассмотрел зажигалку, дунул в нее, вернул.

— Вещь, — сказал он.

С минуту они курили молча, поглядывая друг на друга. Блестели их глаза.

— Слышал? — сказал шофер. — На сто восьмом километре человека убили.

— На сто восьмом? Как же это так?

— Вот тебе и «так». Убили, и нету его.

— Кто этот человек? — спросил Марвич, очень сильно волнуясь.

— Водитель из четырнадцатой автоколонны.

— А кто убил? Ограбление, что ли?

— Какое там! Заснул этот парень за рулем и встречную слегка задел, фару ей разбил. А те прибежали — трое, — стали права качать, а потом монтировками его по голове. Забили до смерти.

— За фару?

— Ага, за фару.

— Зверье! — воскликнул Марвич.

Водитель промолчал, выбросил окуроч в окно и снова взялся за руль. Они помчались дальше, больше уже не косясь друг на друга.

— А ты бы мог человека за фару монтировкой по голове? — спросил Марвич.

— За фару? — переспросил водитель. — Ты что, псих? Может, только по уху ладошкой хлопнул бы. Он помолчал и кашлянул.

— А может, и по уху бы не дал. Пустил бы матерком, и все.

— Зверье! — снова воскликнул потрясенный Марвич. — Откуда только такое зверье берется?

— Откуда? — сказал водитель. — От верблюда.

Мимо промчалась первая за все время встречная машина, военный «ГАЗ-69». Тайга поредела, мелькнули какие-то постройки, радиомачты, потом опять началась тайга.

— Сам из Березани? — спросил водитель.

— Да.

— Кошеварова знаешь?

— Эдьку?

— Николаевича знаешь?

— Семена?

— Валерий, — водитель ткнул Марвичу ладонь.

— Валентин, — Марвич пожал ее.

— Почти тезки, — хмыкнул водитель. — А я ведь думал, друг, ты ко мне нехорошее имеешь.

— Я тоже так про тебя, — сознался Марвич.

Они вдруг весело и разом расхохотались.

— Я про тебя слышал, — сказал водитель.

— Ну ладно, — сказал Марвич.

— Ты знаешь, знакомый он мне был, этот из четырнадцатой колонны.

— Ужасно, когда знакомые парни умирают, — проговорил Марвич. — У меня прошлым летом друг погиб. Как будто кусок от меня самого отрубили.

— Ага, — кивнул водитель. — Понял, знакомый был, на вечеринки вместе мы с ним ходили.

— Поймали тех троих? — спросил Марвич.

— Нет. Никто не знает, кто такие. Эх, мне бы их поймать...

— Что бы ты с ними сделал? — спросил Марвич.

— Ну, не знаю, — напряженно вздохнул водитель.

Мотор работал ровно, спокойно, сильный человек Валера морщил лоб, думал свою думу.

«На дорогах любых — и вблизи и вдали — славься дружба шоферов российской земли», — вспомнил Марвич.

В леспромхоз они приехали к часу ночи. Марвич пошел искать квартиру врача. Этот грузный молодой и одинокий человек был ему знаком. Он был из породы русских лесных врачей. Он говорил такие слова: «дружище», «да, брат», «нет, брат», «вот, брат, какая заковырина получается», — хоть и окончил институт в Ленинграде. Раз в месяц он приезжал из леспромхоза в Березань, в книжный магазин, где они и познакомились с Марвичем. Сошлись на том, что Пушкин — великий русский поэт.

Найти квартиру врача во втором часу ночи в этом заброшенном в тайге леспромхозе было нелегко. Самый был сейчас сон. Глухота и немота вокруг. Марвич блуждал во мраке, перебирал руками штaketник, за которым надрывались невидимые яростные псы.

Он отмахивался от лая и вновь уходил к одинокому фонарю возле склада, под которым спал сторож в дохе. Трижды он пытался разбудить сторожа, но это оказалось невозможным. Сторож был не из тех, что просыпаются.

Отчаявшись, Марвич решил уже заночевать в любом сарае на опилках, как вдруг увидел светящееся окошко и в нем под зеленой лампой лобастую голову врача.

— Ну, брат, ты меня огорошил, — сказал врач, раскрывая объятия.

Они сели играть в шахматы. Играли и ели кое-что из консервных банок.

— Ну, брат, разложил ты меня, — сказал утром врач и ушел на работу.

А Марвич отправился на почту и дал телеграмму Тане в Березань: «Не волнуйся, буду через два дня». Он опомнился наконец.

Днем он пошел на реку, шум которой в леспромхозе был слышен всегда. Река текла в укромном месте между лесистыми сопками, была она быстрой, бурлила, завихрялась, кое-где над валунами взлетали брызги.

Здесь не было ничего, кроме реки и леса. Кроме елей, лиственниц, осин. Кроме серых валунов, стоящих в воде с бычьим упорством. Здесь было все, как сотни лет назад, неизменно. Здесь трудно было представить мир людей, охваченных страстями, спорами, борьбой. Здесь придавалось значение иным явлениям: движению воды и стойкости валунов, осадкам и гниению корней, метеоритам, летящим сюда из бесконечных пучин космоса.

Этот мир не был навязчивым, он был густым и

спокойным, в общем доброжелательным, он не стремился вовлечь тебя в свою жизнь и подчинить своим законам, у него хватало дел и без тебя. Здесь можно было просто разлечься на валуне и глядеть в небо, успокаивать нервы или лихо фантазировать, стремиться ввысь, можно было думать о себе все, что угодно, можно было преувеличить свое значение, а также можно было курить, свистеть, плевать, читать книгу, ловить рыбу, биться головой о камни или тихо страдать.

Поднимите воротник куртки, нахлобучьте поглубже на глаза кепку — кружение речных водоворотов, весеннее верчение воды заставит вас несколько минут просидеть на одном месте, не двигаясь, не думая, сосредоточиваясь. Подняв взгляд выше и заставив его скользить по серой, проницаемой далеко вглубь стене весеннего леса, вы вспомните историю человечества от Месопотамии и Ханаанской земли до первых космодромов с веселыми вашими современниками, и, уже устремившись к небу, имея перед собой одно лишь чистое небо, вы станете думать о том, о чем вам хочется подумать сейчас.

Жалко Кянукука, жалко Кянукука, жалко «петуха на пне», эту ходячую нелепость, жалко человека.

Вечером, когда солнце село в тайгу, с огромного пустынного неба донесся до Марвича тяжелый надсадный гул, отозвавшийся в груди. Это шел на Восток большой пассажирский самолет. Он был хорошо виден отсюда, из земных дебрей, маленькая блестящая полоска в огромном небе. Марвич задрал голову и подумал о своей стране.

«Мне отведена для жизни вся моя страна, одна шестая часть земной суши, страна, которую я люблю

до ослепления... Ее шаги вперед, к единству всех людей, к гармонии, к любви... Все ее беды и взлеты, урожай и неурожай, все ее споры с другими странами и все ее союзы, электрическая ее энергия, кровеносная система, ее красавицы и дурнушки, горы и веси, фольклор, история — все для меня, и я для нее. Хватит ли моей жизни для нее?»

Он лежал на койке врача, слушал последние известия из Москвы, когда раздался сильный стук в дверь. В комнату вбежал Валера, запыхавшийся, красный. Он присел на табуретку и уставился на Марвича своим диковатым прищуром.

— Хочешь отличиться? — еле выговорил он.

— Снимай ватник, Валера, — сказал Марвич. — В шахматы играешь?

— Я тебя спрашиваю: хочешь отличиться? Этих трех мне сейчас показали, которые на сто восьмом... Понял?

— Что-о? — Марвич сел на койке.

— Эти гады, говорю, здесь объявились. На танцы пошли. Потанцуют они сегодня!

— В милицию надо сообщить, — сказал Марвич.

— Нет уж, — сказал Валера, — тот парень знакомый мне был. Тут уж я как-нибудь сам.

Он вскочил и стал застегивать ватник, сорвал крючок.

— Не надо так, Валера, — медленно сказал Марвич.

— Ладно. Не хочешь, обойдусь.

Двумя шагами он пересек комнату. Хлопнула за ним дверь. Марвич вскочил и схватил куртку.

— Подожди.

Он догнал Валеру, и они пошли вместе по темным

улицам поселка. Над поселком, над бедными его крышами висел косой медный просвет. От спокойствия Марвича не осталось и следа. Валера, идущий рядом и чуть впереди, подчинил его гневу и ненависти, горькому воспоминанию о человеке, которого бросили в кювет на сто восьмом километре.

— Валера, — позвал Марвич, вытирая со лба холодный пот. — Погоди.

— Я только поймать их хочу, — неожиданно громко и четко сказал Валера, — только поймать. Я убивать их не буду. Что я, зверь? Поймаю и в милицию сдам, а там уж пусть хоть срока клепают, хоть вышку... Мы их поймаем, Валька. Ведь они трусы. Мы их сами поймаем...

В клубе, в тесном зальчике, играл баянист. Танцы были внеурочные, непраздничные, состоялись они только из-за того, что кинопередвижка не приехала, и поэтому не было в них особого энтузиазма. Так себе, кружилось несколько пар, а остальная публика стояла вдоль стен.

— Вон они, — тихо сказал Валера. — Все трое тут.

Убийцы стояли рядом с баянистом. Ничего в них не было примечательного на первый взгляд: один кряжист, другой высок, а третий прямо-таки хил; не были они, как видно, и очень-то дружны друг с другом, только общее убийство соединило их, и только это событие заставляло их держаться с некоторым вызовом, с подчеркнутой решительностью.

Марвич и Валера, стоя в дверях, разглядывали убийц. Те их не замечали — вернее, не обращали на них внимания. Им важно было лихо провести сегод-

няшные танцы, никому не дать спуска и не потерять друг друга, они нервничали.

Один из них подошел к баянисту, нажал ему на плечо и сказал:

— А ну-ка, друг, сыграй «Глухарей».

Баянист свесил голову и заиграл. Убийца запел:

Выткался на озере алый свет зари,
На току со стонами плачут глухари,
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло,
Только мне не плачется, на душе светло.

Он пел и улыбался девочкам, а девочки почему-то ежились под его улыбки, словно чувствовали, что здесь дело нечисто. Убийца пел, заложив палец за лацкан, он пел, как артист, и правда, голос у него был приятный, он умел петь, похож он был по виду на культурника из дома отдыха. Двое других попроще тоже улыбались и поводили плечами. Сапог одного из них слегка отстукивал такт.

Валера и Марвич смотрели на них.

Убийца кончил петь и улыбнулся, ожидая аплодисментов, но аплодисментов не было, хотя он действительно пел хорошо. Баянист заиграл танго, и зал, словно вздохнув с облегчением, стал танцевать. Убийцы стояли вместе и шептались смеясь.

— Я этих двух возьму на себя, а ты певца, — сказал Валера.

Марвич кивнул.

— Пошли, — сказал Валера.

Они пробрались сквозь толпу танцующих и подошли к убийцам.

— Ну ты, певец, — сказал Валера и легонько ударил сапогом по ботинку «певца». — От твоего пения... хочется. В гальюне тебе петь, а не здесь.

— А ну, отойди! — предупредил «певец», но видно было, что он испугался.

Придвинулись двое других. Баянист поднял широкое и бледное, безучастное свое лицо.

— А эти хмыри тоже поют? — спросил Марвич Валеру.

— Выйдем, — сказал «певец».

Все пятеро, сбившись в кучку, зашагали к выходу. Шли, касаясь друг друга плечами.

— Жить вам надоело? — взвизгнул маленький на улице, за углом клуба.

— Надоело, — медленно проговорил Валера, — как тому, со сто восьмого километра.

И с одного удара он сбил с ног маленького.

«Певец» выхватил нож, а кряжистый парень поднял кирпич.

Марвич ударил «певца» ногой, пытаясь сбить его. Но тот отскочил и пошел на Марвича, держа перед собой нож. Марвич уклонился, и они стали кружить на одном месте, выбирая момент. Рядом сильно и жестоко бились Валера и кряжистый. Краем глаза Марвич заметил, что маленький зашевелился.

«Певец» шипел, бросая в лицо Марвичу грязные ругательства. Он кружил на согнутых ногах и глядел на кружащего тоже парня с настороженным, но спокойным лицом.

Марвич не испытывал злобы к «певцу» и поэтому знал, что проиграет. Он силился вызвать злобу, но она не появлялась. Если бы он видел, как они били монтировками того, из четырнадцатой автоколонны! Тогда в нем возникла бы злоба и он одолел бы «певца». А так он проиграет, это бесспорно, только ставка слишком уж большая в этой игре.

«Певец» тоже не испытывал злобы к нему и от этого приходил в отчаяние, впадал в истерику. Но он знал, что злоба появляется после первого удара. Когда они на сто восьмом километре «качали права» тому человеку, они не испытывали к нему злобы. Но когда один из них ударил его монтировкой по лицу и тот закрылся, все они почувствовали какой-то подъем и стали колотить его, а парень был поражен: он до конца не верил, что они его убьют, — и злоба на него распирала их, и они его били до тех пор, пока он не перестал дергаться.

— Сука, нечисть болотная, — шипел «певец» сквозь слезы, — я тебя сейчас отправлю к тому покойничку...

— Не шипи, — говорил Марвич, — бросай нож! Все равно тебе конец.

Он заметил, что маленький встает.

— Сначала тебе будет конец... — плакал «певец». — Сначала тебе.

Маленький побежал к ним.

Валера и кряжистый катались по земле.

«Если бы найти какую-нибудь железку», — подумал Марвич.

Маленький с разбегу бросился на него. Марвич упал, но в последний момент успел схватить «певца» за запястье с ножом. Маленький делал ошибку: хрипя, он бил Марвича по голове, а надо было вывернуть ему руку, последнюю его надежду.

Валера уложил, наконец, кряжистого и побежал на помощь Марвичу, но кряжистый не думал долго лежать. Он встал и побежал за ним.

В это время недалеко остановилась грузовая машина, и двое пошли от нее к клубу, покуривая. Один

из них увидел за углом ворочающийся клубок тел, отбросил папироску и побежал. За ним побежал и второй — шофер грузовика.

Все решилось в несколько секунд. Подбежавший оглушил «певца», а Марвич оседлал маленького. Кряжистый побежал было, но его задержали выходящие из клуба люди. Все было кончено.

Валера вытер лицо и вдруг сказал кряжистому с горечью и сожалением, чуть ли не со слезами:

— Глупые вы ребята!

Опять вдвоем в кабине грузовика возвращались Марвич и Валера в Березань.

— Ты разбираешься в людях, Валера? — спросил Марвич.

— Не до конца, — ответил Валера.

Привалившись к дверце, Марвич задремал и только иногда сильно вздрагивал во сне.

10. Всеобщее оживление и смех вызвало падение с грузовика большого зеркального шкафа. Батюшки, он угрожающе накренился — и напряглись, раздулись мышцы ребят, на гладкой коже добровольцев грузчиков выпятились и стали лиловыми балтийские и черноморские якоречки, могучие сердца, пронзенные стрелами лукавого Эрота, и «не забуду мать-старушку», и — поехал-поехал-поехал вниз и вбок, зеркало огромной своей поверхностью на миг отразило все солнце сразу, а в следующий миг — все голубое небо сразу, а в следующий момент — много молодых комсомольских лиц, глаза и рты в веселом ужасе, хозяина шкафа, в восторге бросившего шапку в небо, и шкаф грохнулся углом наземь,

повалился, чуть разъехавшись по швам, но сохранил всю свою мощь и внутренний свет и словно объявил, как большое радио: «Поздравляю с праздником!»

Это называлось так: «Сдача в эксплуатацию жилого массива для семей строителей Березанского металлургического комбината». В толпе, запрудившей жилой массив, было много наших знакомых.

11. Заключительные диалоги.

Таня и Марвич.

— Сияешь?

— Тихо сияю.

— Сияешь, как блин, — сказала Таня, косясь.

— Я рад. Я траншею для них копал.

— Ну и что?

— Как что? Горячая вода. Стирка, баня, мытье посуды.

— Только из-за этого сияешь?

— Из-за тебя. Я тебя люблю на целый век, милая, милая, милая...

— Мы ведь с тобой в разводе.

— Суда еще не было. Суд не состоялся за неявкой истца.

— Кто это истец?

— Я истец.

— А я кто?

— Ты истица.

— Истец и истица. Хорошая парочка.

Марвич и Горяев.

— Я мало еще пережил, мало видел людей.

- Флобер всю жизнь провел на одном месте.
— Ну, уж вы и сказали — Флобер!
— Как вы относитесь к моим работам?
— Положительно. Вы...
— Старик, я профессионал, вы понимаете? Я не хвастаюсь, просто у меня такой разряд.
— Вас не пугает аморальность нашего ремесла?
— То есть?
— Помните у Брюсова: «Сокровища, заложенные в чувстве, я берегу для творческих минут?» Бр-р-р!
— Что делать, такова наша судьба. Если хотите, это героизм.
— А если перевернуть этот тезис наоборот?
— Ах, вот как! Оригинально, но не профессионально. Для чего вы пишете?
— Может быть, для того, чтобы разобраться в своей жизни.
— А другим это интересно? Читателям?
— Я ничем не отличаюсь от них. Я — один из них.
— Старик, оставим этот спор. Он бесплоден.
— И туманен.
— Салют!
— Салют!

Марвич и Мухин.

- Мухин, ты все время думаешь о войне, да?
— Часто. А ты?
— А для меня война — голодное пузо и весенняя каша в драных американских ботинках. У нас был «литер А», но все равно не хватало: родственники съехались со всего мира. Я ведь маленьким тогда был, Мухин.

— А мне все кажется, что и ты воевал и Сережа тоже. Наверное, потому, что лет своих не вижу. Знаешь, как будто вы мои кореша еще с лодки.

— Мы оба?

— Ага. Все-таки чудиком я был, чудиком и остался.

Югов и Марвич.

— Валька, насчет Таймыра Тамарка категорически.

— Что ты, Сережа, все насчет Таймыра хлопочешь? Нам еще здесь больше года вкалывать.

— Понимаешь, с одной стороны, семья и требуется оседлая жизнь, а с другой — каждый день снимать номерок и вешать на одном месте, это мне не светит.

— Да, я понимаю, и дочка у тебя.

— Ага, а земля-то большая.

— И Тамара.

— Море в меня влезло, в ярославского мужика, — вот в чем дело, беда.

— А что, если...

— Есть идея? Выкладывай?

Марвич и Кянукук.

— Молодец, что успел. Давай вещички! Все дела? Богато живешь.

— Поехали, Валя, да?

— Куда мы едем, Валя?

— Предупреждаю, у меня бензин на ноле.

— Ничего, у меня еще есть на два-три выхлопа.

— Ночь, Валя.

— Что?

— Ночь. Темно. Хорошо ехать.

— Ты прав, хорошо ехать к друзьям.

Таня и Марвич.

— Валька, зачем ты тогда уехал в этот леспрохоз, оставил меня?

— Мне надо было побыть одному, — медленно проговорил Марвич.

— Ты и дальше будешь так исчезать иногда, таинственно испаряться?

— Наверно.

— Веселенькая передо мной перспектива, — вздохнула она.

12. Предчувствие близкой разлуки, кап-кап-кап — каплет с рукомойника в тишине, мне надо уезжать, ну что ж, настрой получше, вот так хорошо. Когда мы встретимся? Осенью отпуск, а у меня как раз съемки, я приеду туда, смешно, да, смешно, все тебе смешно, сплошные банальности, любовный шепот, здесь цветут цветы? А почему же нет? Забавный вагон, он едет? Все время едет, ночь на колесах, шум ночной смены, ты и я — это огромно, а если сощуриться? Тогда нас и не видно совсем, мир велик, а иногда мал. Ты любишь Пушкина? Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит...

*Москва,
февраль — октябрь 1963 г.*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Часть I.</i> Прогулки	3
<i>Часть II.</i> Развлечения	74
<i>Часть III.</i> Встречи	152

Аксенов Василий Павлович

ПОРА, МОЙ ДРУГ, ПОРА. Роман. М., «Молодая гвардия», 1965.

256 с.

P2

Редактор *З. Яхонтова*

Художник *И. Блюх*

Художественный редактор *Н. Печникова*

Технический редактор *Л. Курлыкова*

A02567 Подп. к печ. 20/III 1965 г. Бум. 70×108¹/₃₂.

Печ. л. 8(11,2). Уч.-изд. л. 10,2. Тираж 115 000 экз.

Зак. 2434. Цена 41 коп. СПХЛ 1965 г., № 55.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

~~41~~ коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ